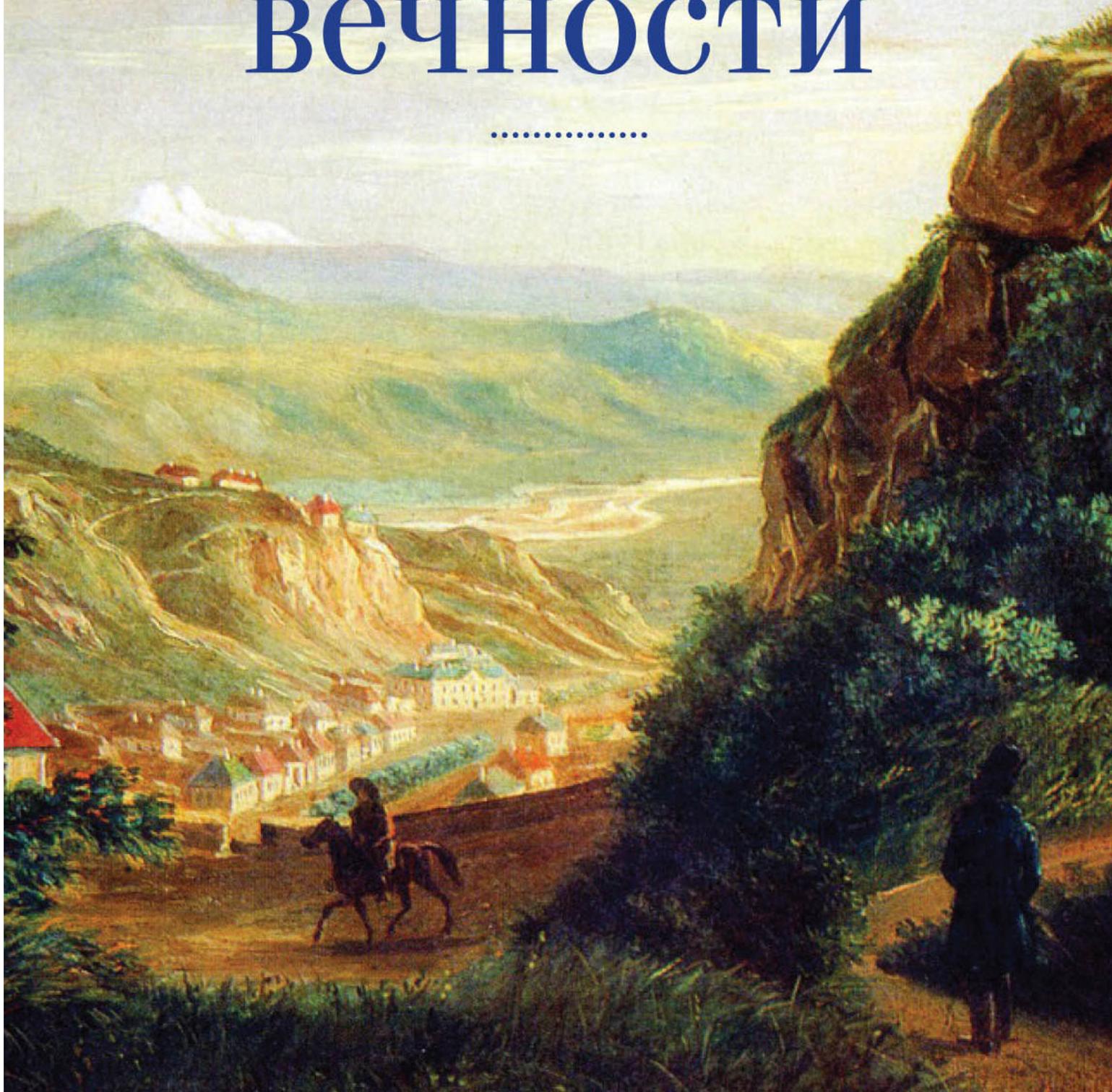


БОРИС ГОЛЛЕР

.....

Синий цвет вечности

.....



Борис Голлер

Синий цвет вечности

«Алетейя»

2020

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Голлер Б. А.

Синий цвет вечности / Б. А. Голлер — «Алетейя», 2020

ISBN 978-5-00165-264-9

Лермонтов вскочил на скаку в седло первого поэта России след в след ушедшему Пушкину. Такое редко бывало в истории литературы, а может, не бывало никогда. От Пушкина осталось семьсот восемьдесят шесть писем к разным лицам, за 37 лет (не считая тех, что лишь приписываются ему). От Лермонтова всего 54 письма, среди которых короткие записки, вроде просьбы к кому-то одолжить пса для случки... Он старался не писать серьезных писем и в письмах всячески скрывал себя. Он нигде не высказался, – напротив, как-то странно пытался промолчать – о литературе. В сущности, исключая лишь стихотворение «Смерть поэта». Но тут и случай был особый – гибель Пушкина. (Вообще, связь его жизни с судьбой Пушкина так же удивляет своей тайнописью и почти инфернальной близостью.) Нет, он выдвинул один тезис литературный, наверное, самый важный, хотя и спорный: «История души человеческой, хотя бы и самой мелкой души, едва ли не любопытней и не полезнее истории целого народа», – это ко второму изданию «Героя нашего времени». С этим и сегодня согласятся не все. Исключая воспоминаний героя, относящихся к более раннему времени, вся композиция книги стягивается к одному центру: к последнему отпуску, предоставленному Лермонтову высшим начальством в 1841 году, после тяжелых боев на Кавказе и сражения при Валерике. «Синий цвет вечности» – не роман-исследование и не роман-биография. А более всего – просто роман. Автор, кажется ему, шел к этой книге всю свою жизнь. (Сперва были только приближения к теме: драма «Плач по Лермонтову», эссе «Лермонтов и Пушкин», «Две дуэли».) Но отважился на книгу только сейчас – после драмы «Венок Грибоедову», романа «Возвращение в Михайловское» в четырех книгах, повести «Мастерская Шекспира»...

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-264-9

© Голлер Б. А., 2020

© Алетейя, 2020

Содержание

Пролог	7
Часть первая	12
Часть вторая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Борис Голлер

Синий цвет вечности

© Б. А. Голлер, 2021

* * *

Эта личность была странной, пленительной и, подобно его произведениям, отмечена печатью невыразимой меланхолии.

Шарль Бодлер (об Эдгаре По)

*Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое;
вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к
небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе.*

Михаил Лермонтов

*Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой.*

Графиня Ростопчина

Пролог

I

«Автор недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными...»

... Я вижу, как, дописав (уже металлическим пером) последнюю строчку примечания, он прячет листки в бювар на столе, на темной кожаной одежде коего отгиснуто золотом: «СТОЛЫПИН АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВ». Потом снова приоткрывает бювар и перебирает бессмысленно пустые конверты в нем... Некому писать письма. «Причины остались неясными». – А что ясно в этом мире? А ничего не ясно!

Он складывает бумаги и звонит слуге: одеваться. Он сделал все, что мог для покойного друга – даже перевел его роман на французский язык. Теперь скоро появится в «La Democratie rasifcise». Начнут печатать с ноября. Во Франции романы выходят в газетах частями – их зовут «фельетонами». Газетенка – слишком левая, да бог с ним! Только левые сейчас интересуются Россией. Ждут от нее чего-то неожиданного, чего не могут сами дать и чего не будет в старой Европе. Пусть увидят по крайности, что в России умеют писать не хуже Гюго и Бальзака.

Столыпин высок ростом, красив и холен. Он денди (считается) и явно злоупотребляет мужскими духами. В обществе его зовут Монго. Это странное прозвище прижилось и даже нравится ему. Возможно, больше чем фамильное имя. Вообще-то это – кличка его любимой собаки.

В Париже Монго лечится от тоски. Безнадежной. Длительной. Утомительной и поработительной связи: графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова.

Конечно, замужем. Конечно, жена известного лица. Почтенного графа Иван Илларионовича – того, что закатывает знаменитые на весь свет балы. Графиня теперь где-то там, в Петербурге со своим мужем и своими не тухнущими страстями. Столыпин понимает и сам, что истинное достоинство этой любви лишь в том, что она – давняя.

Но он и потом будет лечиться от нее: на Крымской войне, на 4-м бастионе (если слышали), потом во Флоренции... Лечиться даже тогда, когда самого предмета любви уже не будет на свете.

Кто считает возможным, смеется над Столыпиным. Князь Вяземский, например. Не над самой связью, естественно – с кем не бывает? – а над ее постоянством.

Сейчас Монго арендует флигель на западе Сен-Жерменского предместья. Аристократические семьи во Франции быстро нищают после всех революций, и с удовольствием сдают внаем свои хоромы... Чуть не все предместье сдано. В основном, флигеля. Вот и он занимает один из них. По выходе во двор встречает хозяина, который оживленно раскланивается с ним и готов, кажется, завести разговор. Но жилец уклонился: показал, что торопится. Хозяин сразу понял. (Воспитанные люди умеют сделать это необидно, а другие воспитанные быстро понять.) Покуда здесь цепляются за русских приезжих, потому, что из Парижа, напротив, многие бегут...

Отсюда он ходит за утешением на некую улицу в центре города, близко к набережной Д'Орсэ. Отправляется обычно пешком – если нету дождя или снега. – Невежливости природы его раздражают. – Мы можем ошибиться с названием улицы: столько лет прошло. И вообще это было до знаменитой перестройки Парижа мэром бароном Османом, который чуть не в два десятилетия превратил средневековый город Франсуа Вийона и Варфоломеевской ночи в современный и красивейший из городов. Но для того пришлось постараться и снести часть улиц, вымести все средневековье.

Столыпин минует Рю де Месье, совсем крохотную, вдвигается в длинную Рю Ванно, пересекает Рю Варенн и Рю де Гренель, и, в итоге оказывается на берегу Сены, у строящегося моста (Сольверино)... Он идет вдоль берега, заглядываясь порой в тусклую и уже холодную воду. Отсюда поворачивает направо – а там уж два шага до совсем миниатюрной, как Рю де Месье, улочки, название которой с некоторых пор он и сам не вспомнит, потому что для него это – Рю Бреданс – улица *Бреданс*.

Странное имя – Бреданс, – предки, верно, из Британии или из Бретани, впрочем, могли быть из других мест. Во всяком случае хочется завоевать ее любовь, оттого, что надоела любовь некоторых светских красавиц в Петербурге.

Бреданс, конечно, встретит, как всегда – приветливо и с холодком. (Набивает себе цену?) Она всегда встречает так, будто он по случаю заглянул к ней.

Чтоб он ей верил или, напротив, не слишком верил? После Александрины он не верит никому из женщин. Так что – зря старается.

– Что? Месье Рамо заходил? – спросит он небрежно, увидев чью-то шляпу на вешалке.

– Шляпу оставил? Он всегда забывает. Когда нету дождя!..

Но тотчас съязвит: – У вас, русских, верно, часто жены изменяют!.. Стоит кому-то зайти в гости...

– Не бойся! Я не ревную.

Он рассмеется как бы легко.

– Потом поедем в Булонский лес? – спросит она по обыкновению.

Она любит эти прогулки с ним в экипаже в Булонский лес – после пылких объятий, которые он про себя зовет лишь плотскими утехами... Ей нравится хвалиться им перед подружками, которых там много. Он вспомнил свой бювар и рукопись, скрытую в ней... Так устроен мир! Один ложиться в землю, а другой едет с женщиной в Булонский лес.

II

Воспоминания есть некая обреченность сознания. Мы обречены вспоминать...

Сцена, что открылась его взору, была чисто театральной.

5 сентября 1836 года они с Лермонтовым стояли на Елагином острове, у дворца, где шел традиционный Храмовый бал ее величества Кавалергардского полка (шефом полка значилась сама императрица Александра Федоровна). Бал проводился каждый год в этот день, и всегда собирал много народу. Они сами только что вышли из дворца и углубились в деревья, за дорогой, по которой ко дворцу, одна за другой, подъезжали кареты, разбирая гостей бала. Бал кончался. Хотя музыка еще вылетала из дверей и с ней отдающий крепкими французскими духами, запах грез... Вид двух корнетов лейб-гвардии Гусарского, молча стоящих в тени за дорогой, не был чем-то необычным.

– Может, поедем? – спрашивал Алексей.

– Нет. Ты торопишься?

– Но, может, он отбыл уже?..

– Нет. Я ж сказал тебе – я видел его карету.

Если Миша был не в духе, не стоило перечить ему.

– Ты уверен, что это – *его* карета?..

– Ты вправду не торопишься?

– Я ж сказал.

Они как бы теснили друг друга словами. Была такая манера.

Лермонтов был мал ростом, коренаст, угрюм и явно недоволен собой.

– Нас обещал Соллогуб представить друг другу, – пояснил он с неохотой. Ты точно не торопишься?

- Я ж сказал – не тороплюсь.
- Как хочешь!.. Его жена, говорят, впервые в свете после родов.
- Все правильно! Только не впервые! – откликнулся Столыпин.
- Правда? Поезжай!
- Я ж сказал тебе – никуда не тороплюсь!

Они считались кузенами, хотя, было сложное родство: он приходился Михаилу двоюродным дядей, – вечная путаница с родственниками. Но он был на два года моложе Лермонтова, и тот держался, как старший.

Из полутьмы, накрывавшей постепенно Елагин остров, – из дверей дворца вывалился еще один офицер. Спиной и продолжая раскланиваться с кем-то.

– Ой, а я Вас потерял!

Это был Трубецкой Александр, кавалергард. Их общий приятель.

– А-а, «Бархат»! – поздоровался Лермонтов мрачно. – А зачем ты нас искал?

– Э-эй! Ты не должен меня так называть! И вообще афишировать, что знаешь это зрелище! Не дай Бог! – испугался Трубецкой.

– А я не афиширую!

Хотя это знали решительно все. «Бархатом» Трубецкого назвала так сама, императрица российская Александра Федоровна, в кружок развлечений которой он вписался не так давно, но занял в нем достойное место. И кличка удержалась. «Бархат» – значит, бархатные глаза. В самом деле были почти бархатные.

– Ты Соллогуба не встретил? – спросил Лермонтов.

– Он там помешался на какой-то барышне. Не отрывается. По-моему, одна из Виельгорских. Жениться собрался, что ли?

– А-а... Это мы знаем! – сказал Лермонтов.

– Что ж! бывает! – подхватил Столыпин.

– Но потом проходит! – заключил Лермонтов.

– А первую пару вечера вы уже видели? – осклабился Трубецкой.

– Какую? – спросил Столыпин.

– Пушкин с женой. Уморительное зрелище!

– Я не видел, – сказал Лермонтов, – Мы быстро ушли.

– Старик страшно злится! – сказал Трубецкой.

– Это – старая новость! – бросил Столыпин, чтоб не длить разговор.

– Ладно! Вы тут застряли, похоже – а у меня дела! – Трубецкой заторопился уйти... Они смотрели ему вслед.

– Не дразни его. Его недавно отвергли!.. – сообщил Столыпин.

– Кто? – спросил Лермонтов без особого интереса.

– Маленькая Барятинская.

– А-а!.. Бедняга! А я думал – он уже женился на России.

– Нет, что ты! Наш государь – не Петр Третий и даже не Первый. При нем не повольничаешь. Они только катаются с императрицей в санях...

– И как?

– Ничего. Он придерживает ее за талию. Воздушные поцелуи разрешаются.

– А когда он держит ее за талию, он чувствует, что держит в руках Россию?

– А ты спроси у него!

– Я все же, пойду туда, посмотрю! – решил Столыпин после паузы.

– Как хочешь!

Столыпин ушел, но вскоре воротился...

– И правда, они здесь! Остановились в дверях! Жену обступили молодые поклонники.

– Естественно! А он что?

– Ничего. Стоит в стороне. Грызет ногти.

– Я ж говорил тебе – не женись!

Постепенно темнело... И какая-то пара вышла из дверей Елагина дворца и направилась к своей карете, так что два друга не сразу обернулись на голоса. Высокая стройная женщина и небольшого роста мужчина... Голоса долетали до них. Это был уже чистый театр. – Французская пьеска. Семейный диалог.

Он. Извини, что поторопил! Но это было утомительно долго!

Она. Никак не пойму, в чем я повинна...

Он. Вина? О чем ты? Какая вина? Это моя беда. А не твоя вина!

Она. Что ты хочешь сказать?..

Он. Что есть нюансы. Более тонкие.

Она. Я веду себя, как все – не более того!

Он. Это вовсе не значит, что поведение *всех* мне нравится!

Она. Ты же сам хотел по-моему, чтоб я...

Он. Блестала в свете? Хотел. Моя ошибка. Но нельзя ж и за ошибки судить слишком строго!

Голоса крепнут. В них появляется раздражения. До двух гусар, стоящих в тени у дороги, паре нет дела. Сюда долетают отдельные слова. Но остальное так понятно!

Пауза.

Она. Почему я не могу побыть в свете среди шумных и внятных ровесников своих? Это вовсе не значит, что кто-то за мной бегаёт вынюхивая... Как вы изволили мне писать в письме...

Он. Там сказано «кобеля»...

Она. Да. Это было грубо. Ужасно грубо! Женщина должна ощущать, что она стоит чего-то. Смотреть на себя чьими-то глазами.

Он. Согласен. Только...

Она. Вы всегда стремитесь меня увести. Мне скучно. Может, в этом дело?

Он. Я просто напомнить хотел! У вас четверо детей. И дочь – всего два месяца. А вы и так дважды выкинули с вашими танцами!.. (Пауза.)

Она. Вы смотрите всегда такими скучными глазами! Ну можно хоть в свете так грустно не смотреть?

Прошли. Пауза. Чистый театр! Только голоса в отдалении:

– Карету Пушкина!

– Какого Пушкина?

– Сочинителя!

Пауза.

– А почему ты хотел именно сегодня? – спросил Столыпин.

– Не знаю. Кто-то сказал мне, что он читал мои стихи. Может, соврал.

– Одобрил?.. А что он мог читать?

– «Хаджи-Абрека». Что-нибудь... А может, «Уланшу», барковщину какую-нибудь... Он сам любил такие вещи!..

Усмехнулись оба. Пауза.

– Так вы и не познакомились! – сказал Столыпин не сразу, с досадой.

– А зачем? – Ты ж слышал? «Скучные глаза» У меня тоже скучные глаза. И кому в нашем мире нужна поэзия?

...«Автор недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными...» Столыпин вспомнил о рукописи, только что законченной, и о листке, который спрятал в бювар перед выходом из дому.

Часть первая Петербург – Москва

I

Сани неслись с горы, в темноту – в бездну без дна. Но, когда совсем рухнули в долину, просветлело. Они шли теперь медленно, лишь подпрыгивая на камнях. После дрогнули, наткнувшись на препятствие, и остановились. – Сбоку у дороги был большой камень, и, привалившись к нему, полулежал молодой горец с бородкой – совсем юной, и борода была повернута острием к саням... *Знакомый труп лежал в долине той...*

Он спросил почему-то у мертвеца::

– И много ль горцы потеряли?.. Наверное, не ожидая ответа. Но труп открыл белесые, мертвые глаза.

– Как знать? Зачем вы не считали?

– И зря говорят, что я рвусь на войну... «удалая русская голова так и рвется на нож»... я не рвусь вовсе – это война рвется ко мне! – сказал он сам себе, просыпаясь.

Он въезжал в заснеженный Петербург в середине Масленицы – четвертого или пятого февраля 1841 года, – в город, который невзлюбил с первого взгляда, но без которого обойтись не мог.

Спокойствия рачитель на часах

У будки пробудился, восклицая:

– Кто едет? – Муза! – Что за черт? Какая?..

На заставе Московской вышла заминка: столпилось сразу несколько приезжих, среди них трое офицеров, и пришлось подождать с оформлением...

«Лермонтов Михаил Юрьев. Поручик Тенгинского пехотного, отпуск...»

Город был завален снегом. Голубоватые в дымке утра сугробы тянулись вдоль улиц, сужая тротуары и вылезая на ездовую часть. Телеги и санные кибитки старались тесниться к середине дороги и осторожничали, объезжая встречные экипажи.

Возница, видно, плохо знал Петербург, оттого чуть не вкатился сходу в распахнутые ворота Литейного двора, который замыкал собой улицу и прикрывал выход к Неве... После долго разворачивались на повороте и въехали наконец в Сергиевскую улицу. Здесь была новая квартира бабушки, которую она сняла после того, как он уехал.

Он кисло улыбнулся и с неприязнью на всякий случай оглядел дом, который видел раньше, конечно, но с которым теперь придется свыкаться. А надо ли?

Слава богу, его ждали. Слуги быстро повыскакивали из дому, накинув тулупы на рубашки, и принялись отвязывать и снимать его чемоданы с запяток. Андрей Соколов, без шапки, и в валенках ткнулся с поцелуем в плечико, а барин притянул его голову и чмокнул в лоб.

В комнатах он быстро разделся – Андрей помогал, набросил на него домашний халат.

Михаил спросил кофе и чего-нибудь поесть.

– Так я еще воды приготовлю, – сказал Андрей, – имея в виду ванную.

– Разумеется! – Барин пожал плечами.

Он накинул халат и сперва принялся за еду. В трактирах не насытишься! А тут с кухни принесли блины на широкой тарелке с грибной подливой в соуснице. И еще блины с мясом и

с творогом. Бабушкина кухня – середина масленицы, неважно, что бабушки нет в доме. Все прибрано, все готово. У него так не бывает. Он ел по-солдатски – споро... Андрей поставил перед ним кофий. Он выпил, обжигаясь, закурил трубку с жадностью, – потом отложил ее и, взяв пахитоску, отправился бродить по квартире: надо ж познакомиться с новым жильем? Нет, все то же, и вещи те же – только все чужое. (И опять мысль мешается: надолго ль здесь?) Он взял еще пахитоску.

Ту комнату, что отведена ему под кабинет, он угадал сразу. Стол его был здесь прибран, как при нем. Он не терпел заваленного стола. Погладил стол, как ребенка, – ладонью по твердой доске. Тот чеченец, что приснился ему, был с Валерика. Он его помнил оттуда. Как помнил Лихарева. И весь тот бой, и всю свою несчастную жизнь. Там чеченец тоже полусидел, привалившись головой к камню. Верно, жизнь уходила медленно из него. Совсем молодой – и борода детская. Почти в двух шагах, – солдаты-куринцы плакали над своим капитаном. «И много ль горцы потеряли?». – Они потеряли, мы потеряли... Все теряют. Зачем?..

Стол был, как родина, может единственная. Все остальное – война и смерть. Стол отделял его от всего этого.

Он не любил жизнь и ненавидел смерть.

Зашел в комнаты бабушки. В милую, малую ее гостиную, рядом со спальней, – такая была во всех ее квартирах... комнатка для близких. В ней она принимает только близких и жалуется на него... Он стал рассматривать горшки с домашними цветами на окне. В одном обнаружил давно высохшую пахитоску свою – торчит так открыто, никто не вымел. Бабушка вечно ругает за привычку совать окурки в цветы, и сама вытаскивает их всякий раз аккуратно и велит слугам... Кого-то, кажется, выпороли – за то, что не вытаскивал. Бабушка была строга, и он ее не понимал, как собственную страну.

Все равно, кроме нескольких людей близких, он особенно любил своих слуг. Их отношения с ним были прозрачны, естественны, он не терпел неестественного. С теми же, кто равен тебе, всегда все иначе – будь они неладны!

Нашел еще пахитоску – в другом горшке. И издатель Краевский тоже ругает его привычку тушить пахитоски в цветах. И у того в доме сплошь – растения на подоконниках и на полу. Правда, Краевский нуждается в нем как в авторе и ругается совсем слабо. Эту пахитоску не заметил никто – ага! так и торчала, верно, с той поры – с дуэли с Бараном. – Про себя, а иногда даже вслух, при близких, так называл де Баранта-младшего – будь он проклят! (Добрый солдатский мат!) – Испортил мне судьбу!..

Скоро явится Монго – послал к нему слугу с запиской. Бабушки нет – застряла в Тарханах, когда свидимся? Андрей сказал – уже едет. Он часто стремился к одиночеству, но никогда не любил его. Верней, любил лишь то одиночество, которое выбирал для себя сам, а не то, что выбирает нас. Хотя в последнее время отношения со старухой слегка разладились, – он скучал по ней. Окружающие портят ему все – даже отношения с родной бабушкой. Шепчут ей в оба уха, что она слишком печется о нем, выпрашивая для него милости... А он не ценит ничего, и все равно сам все испортит, как в прошлый раз в дуэли с Барантом. А потом он женится и – прощай-прости! Будет любить жену и слушаться ее. Как все дети, ставшие взрослыми. А он даже не ее ребенок, а только шкодливый внук – совсем другое дело. Эти вообще – оторванное от старших поколение. Нет, бывает, конечно, бывает!.. Бабка боится, что он женится еще при жизни ее. И многожды поднимала разговор об этом. Он смеялся и отнекивался. И впрямь, не представлял, как введет в дом жену при ней, – да она сама и испортит ему все. А жена будет страдать – тоже драма. А драмы он выносит только на театре, и то с трудом. Потому и перестал писать пьесы. Пока перестал!

Часа два спустя – он стоял нагой в маленькой домашней ванной, – на курьих ножках. (Он ее звал про себя «ванной г-жи де Мертей» из «Опасных связей», – романа, который очень любил!) – и Андрей крутил его туда-сюда и поливал: из кувшина, а то и просто из ведра горячей

водой. Он казался бы очень сильным мужчиной, если б был повыше ростом и не сутулился, но... короткие кривые ноги все равно стояли крепко, а широкие в плечах, сильные руки выдавали бойца. Друзья – гусары дивились его силе, зная его, в детстве, домашнее воспитание. – Он и сам не знал, откуда ее взял. Андрей отер его старательно, а потом накинул – банный, щекочущий пышной белой ворсой, халат...

II

Из Записок Столыпина

Хоть я и перевел на французский язык «Героя нашего времени» – старательно, надо сказать, со всем тщанием, – я мало чему выучился у Михаила. Мне все равно его не описать. И встречи наши труднее описывать, чем разлуки.

В Москве мы с ним разминулись нечаянно, хотя ехали почти друг за другом из Ставрополя – так вышло. Я посетил его сразу после его приезда в Петербург.

Он был только после ванной – сидел в халате, раскрасневшийся. В гостиной, на столике – сигары, две трубки, конечно, пахитоски. И две бутылки вина – початые, но совсем немного. Мы выпили по бокалу и выкурили по сигаре. Пил Миша и много, и мало, – при всех наших гусарских попойках он никак не выглядел пьяницей. Станный человек! Никто и никогда, наверное, не видел его в стельку пьяным. Вино не действовало на него – так, будто он сам действовал на вино: глотал и все. Это не питье. Он так и в карты играл: умел останавливаться. Профукав не больше пятисот ассигнациями, вставал из-за стола и выходил из игры. – Как? Мы ж только начали разогреваться! – сетовал кто-то из партнеров. – Ну, грейтесь дальше без меня! – следовал ответ, впрочем, вполне дружелюбный.

Он велел Андрею подать нам еще кофею. Тот поставил на стол кофейник и принес горячие хлебцы с сыром, только что приготовленные. Дом бабушки и без нее оставался собой.

– Елизавета Алексеевна, что, больна? – спросил я.

– Застряла в Тарханах, говорят – бездорожье. Там уже растаяло. Трудно поверить, сидя в снегу. – Он показал за окна. – Грешно, конечно, но я рад немного, что ее еще нет. Надо поразмыслить как-то о своих делах без вечных вопросов, что дальше. Я и сам не знаю, что дальше.

– Ты уже видел свою?.. – спросил он. Я кивнул.

Речь шла о той же Александрин. – О Воронцовой-Дашковой. Это была моя беда – уже несколько лет. Может, вина. – И беда, и вина одновременно. И Мишель мог не завидовать мне и быть счастливым, что сам не переживает такой страсти.

– Что? Не изменилась?..

– А какие причины у нее меняться?..

Александрин была прекрасна и мила. Необыкновенно. «Как мальчик кудрявый резва...» – так он сам написал о ней. Резва, правда, за мой счет. Ну, не только мой, но за мой тоже. И еще посмеивалась над моей ревностью. А я не мог без нее – право, не мог, хоть это и была слабость. Весь свет – мыслящая его часть, а не только сплетничающая, жалела откровенно ее мужа Ивана Илларионыча – князя Воронцова-Дашкова. Весьма знатного при дворе человека, да и во всем мире тоже – кроме ее души. Я сам жалел его и сочувствовал ему, и как бы подсоединялся к его страданию. Мы были с ним сродни, несмотря, что я сам был одним из виновников его несчастий.

– «Но ты скажи, моя Аглая – За что твой муж тебя имел?» – иронизировал надо мной Михаил стихами Пушкина. Он не хотел меня дразнить. Сочувствовал мне просто, но не умел сочувствовать – не дразня.

– Кстати, у них завтра бал! – сказал я. – Пойдешь?

– Не знаю. Может быть. А куда я денусь?

Я жалел впоследствии, что сообщил ему. Впрочем, он узнал бы сам, возможно. С бала начались все здешние его неурядицы.

– Хочешь остаться и выйти в отставку? – спросил я после паузы.

– А как ты узнал? – Он усмехнулся. – Да, наверное. Наверное, хочу...

Мишелева обычная, словно вымученная улыбка, стала на миг радостной и мечтательной. Всего на миг. Он не позволял себе больше.

– Только бабушка не согласна – вбила себе в голову, что хочет видеть меня адъютантом!

Теперь улыбка была всегдашней. Презрительной и безнадежной.

Если б кто-нибудь со стороны подслушал наш разговор, он бы, верно, удивился. Мы говорили отрывисто, ибо понимали друг друга с полуслова. Больше намекая на слова, чем их произнося... Почти назывные предложения.

– Тут надо понять, кто!.. – говорил я.

– Ну да, – подхватывал Михаил.

– Наше родство дало трещину. Нынче не играет никакой роли, – пожаловался я. Он кивнул.

– Все-таки, жаль, бабушки нет!.. – А если, Философов?

– Он уже пробовал. Безнадежно...

– Или Дубельт?

– Тоже мне родня! – усмехнулся он.

– Ну, все-таки!

Это все означало, что надо сообразить, кто, в очередной раз заступится за него (сможет заступиться), – и на какие рычаги следует нажать. Я-то знал про себя, что наша родня (старшая), хоть и готова как-то вступить за Михаила, на самом деле кругом не одобряет его. Считает неудачником. Они же признают только успехи в карьере! Стихов его они не читали, романа тоже. Лишь сочувствуют бабке: «Бедная! Мало, что потеряла дочку и зять негодяй... Так еще любимый внучек!..»

– Дубельт не станет перечить начальству. Я ж, отказался выполнить просьбу Бенкендорфа и просить извинения у Барана! Даже вмешал сюда великого князя.

– Михаила?

– Есть один великий князь, который играет какую-то роль!

После паузы я задал вопрос, на который у нас обоих не было ответа...

– И почему наверху так всерьез отнеслись к этой истории?

– К дуэли с Бараном?

– Ну да! Ты же защитил честь русского офицера.

– Ай, брось! Кого и когда волновала эта честь!

– Ты ж сам говорил, что «Петербург – скользкое место!» – сказал я, надеясь разрядить обстановку.

– Это – не я говорил, Вяземский!..

– Какая разница, кто – если это правильно?

– Надежда лишь – мои два представления к наградам...

– Ты думаешь, пришли уже?

– Пока я здесь – придут!

Действительно, два представления к наградам за храбрость, одно из них за Валерик – могли изменить ситуацию...

– Важно, как отнесутся, – сказал я, подумав.

– Это уж от меня не зависит... У меня впереди целый месяц или два.

– Скоро день рождения наследника. А дальше, говорят, его помолвка. С принцессой Гесенской. Будут милости!

– Или милостыня, – поправил Михаил.

Он был угрюм, более, чем всегда. Покурили, выпили с полбокала.

– Я был в Москве у Ермолова! – поведал Михаил.

– Да? А что ты делал у него?

– Относил письмо Граббе. Хотел отдать камердинеру. Но мне передали его приглашение зайти. Ермолову, как ты понимаешь, не отказывают. Вышло – нанес визит.

– Ну и что?

– Ничего. Я видел в передней, на вешалке знаменитую бурку. Так и висит!.. Растрогался. История, все-таки!

– Ну и что? старик – совсем рамоли?

– Это мы с тобой будем рамоли, когда он все еще будет Ермолов. Знаешь, что он мне сказал? – Про стихи на смерть Пушкина?.. Жаль, говорит, наш государь выслал Дантеса во Францию. Отправил бы лучше ко мне на Кавказ!..

– Но его уже не было на Кавказе в пушкинскую историю!!

– Не было. Но он и сейчас там! – Во всяком случае, он так думает. Сидит себе за столом, а вокруг – горы!..

Попросил меня нарисовать ему план сражения при Валерике. Я нарисовал.

– И что он?

– Был недоволен естественно!.. Ругал Галафеева. А как ты хотел? Чтоб он был доволен тем, как там идут дела без него?..

III

Он, и вправду, не собирался встречаться с Ермоловым. Не любил знаменитых людей (разве только издали), и не стремился в гости к ним. Было письмо командующего войсками на кавказской линии – Граббе, было велено передать из рук в руки. – ну, отдаст камердинеру и все. Но камердинер сказал: генерал просил к себе!

Михаил увидел в прихожей отдельно вешалку на ножках, на которой пылилась знаменитая бурка с того самого портрета, копия с которого продавалась даже в лавках, где торговали фонарным маслом, и поневоле сам смешался и почему-то обрадовался: жива бурка, жива, куда она денется?

Он поднялся вместе с камердинером на второй этаж. Ермолов принял в кабинете, а не в гостиной – уже какая честь!

Крупный, достаточно пожилой человек сидел в кресле за огромным, словно выметенным столом – ничего, кроме лампы, чисто, – и встретил любезно, хотя и отстраненно. У него были седые, уже редкие волосы, но зато они густо торчали из ушей, и небольшие глаза, упрятанные в глубокие глазницы, но они смотрели буравяще и властно; он вовсе не выглядел старцем. – Возраст, только и всего! Взгляд был таким, как во времена его походов.

Михаил вручил письмо Граббе и надеялся откланяться. Он сам умел смотреть на людей чересчур пристально и не терпел, когда смотрят так на него.

– Спасибо, поручик!

Ермолов положил письмо рядом с собой на стол и жестом предложил сесть.

Лермонтов опустил на стул перед собой целую историю собственной страны с ее пожарами и победами: перед Смоленском, Бородино, Тарутиным, перед битвой под Кульмом, где этот человек спас императора и прусского короля, а стало быть, и всю кампанию против Наполеона от оглушительного разгрома с пленением царя и королей, – и с кавказской войной, куда от нее денешься? с кавказской войной! С которой он сам приехал теперь, потому что она все еще

длится, эта война, будь она проклята! а этот старик был легендой ее, ее гордостью и чуть не главным воспоминанием.

– Это вы написали стихи на смерть Пушкина? – спросил генерал.

– Да, я.

Михаил не любил, когда вспоминали эти его стихи. С той поры пошли все неудачи в судьбе, а он, как все люди на свете, не любил своих неудач... да и... с тех пор он написал много чего еще... а так – можно помереть и остаться только автором стихов на смерть Пушкина.

– Все-таки, зря государь решил тогда выслать Дантеса. Он же был русский офицер – можно бы и не высылать. Послал бы ко мне на Кавказ, – сказал Ермолов важно или даже вызывающе.

К тому времени, как случилась дуэль Пушкина с Дантесом (Лермонтов попытался определить для себя). Ермолова на Кавказе не было уже почти лет десять. Интересно, как он думает вообще о времени? Или у таких персон – особое представление о нем? – Но все ж не позволил себе улыбнуться.

– Я все-таки посмотрю письмо, – сказал Ермолов. – Извините?

– Конечно, – сказал Лермонтов, чуть удивившись такой вежливости.

Ермолов надел очки и внимательно, но быстро, пробежал текст.

– Это касается моего сына Севера. У меня трое сыновей. У двоих все в порядке, а у этого что-то не клеится по службе. Я отправил его к Граббе, надеясь на его твердую руку.

– Я знаю Севера! – сказал Лермонтов. – Мы вместе представлялись генералу Граббе.

– О-о!.. Даже так? И как он был представлен командующему? как простой унтер-офицер, как я мыслил, отправляя его... или, как сын Ермолова?..

Не было понятно – чего хочется ему. (Пойми нас, людей!)

– Север – достойный человек и солдат! – сказал Лермонтов, даже с некоторым вызовом.

– Ты думаешь? – спросил Ермолов вдруг на «ты». И взглянул на него почти весело – взгляд отца.

– Не захваливай! – сказал он на всякий случай. И повторил: – Не захваливайте! Он и так слишком высокого мнения о себе!

Потом сам сменил тон:

– А Граббе у вас – хороший начальник. Дельный. Я же хорошо знаю его. Он был, вы слышали, верно, адъютантом у меня.

Михаил поддакнул вежливо и сказал самые добрые слова в адрес Павла Христофоровича.

– Вы знакомы с его молодой женой?

– Конечно. Очень милая дама. – Он не понимал, зачем вопрос.

Семья генерала уже существовала достаточно долго, но о ней говорили часто, как о недавнем союзе. Тому причиной была разница лет Граббе и его жены и слухи, какие носились в воздухе.

– Красивая?

– Да, пожалуй.

– У него много забот военных, – сказал Ермолов не в осуждение, а как бы, в раздумье.

– Молодая жена. Нам старшим – не опасно, как считаете?

Лермонтов улыбнулся невинно, но затруднился с ответом. Он мог рассказать – что молодая жена Граббе глупа, что на водах она по уши влюбилась в молодого красавца Глебова, и что это – совсем никакой не секрет для всей Кавказско-Черноморской линии. А что думает по этому поводу сам генерал Граббе, конечно, неизвестно ему.

Он неловко пробормотал, что жена Павла Христофоровича после родов, вроде, выехала на воды в сопровождении начальника штаба линии полковника Траскина.

– Этого я знаю. По-моему, дельный офицер, – сказал Ермолов.

– Да. У нас его ценят в армии!

– Все равно... Поздний брак! И слишком занятой муж!.. – он продолжает думать о Граббе.

Примолк ненадолго И вдруг разразился речью о достоинствах кебинского брака, и Михаил с интересом и удивлением слушал его. (Это было совсем уж неожиданно.)¹ – Я, лично, был утешен им. Знаете, что это? (Лермонтов кивнул.) Это очень удобно. У меня трое сыновей от кумыцких жен. Когда становишься старше – понимаешь, что бесплатное удовольствие стоит куда дороже, чем оплаченное – вам не кажется?..

Михаил понял вдруг, что Ермолова просто продолжает волновать все происходящее на Кавказе без него. Даже личная жизнь людей. Что он причастен к этой жизни, чувствует причастность. И тут уж ничего нельзя объяснить. Он просто не уехал с Кавказа – его отставили, а он и не уезжал. Остался. Хоть и сидит теперь в Москве.

– Вы участвовали в деле при Валерике?

– Да, разумеется.

– В самом сражении?

– Я был связным между генералом Галафеевым и наступающими частями Куринского и Ширванского полков, которые осаждали завалы у реки.

Ермолов улыбался почти сладостно – и непонятно чему. Вновь звучали названия боевых полков на Кавказе и это было для него как музыка. Он жадно прислушивался к ритмам этой музыки.

Гость мог бы прибавить, что представлен не к одной, а к двум наградам. И что одна – за этот самый Валерик. Но, разумеется, промолчал.

– Как Галафеев вел бой?

Лермонтов сказал, что генерал вел бой блестяще.

– О-о, даже так? не преувеличиваете? А до меня дошли слухи, что он в бою застенчив.

Михаил усмехнулся высказыванию, но возразил, что это не так!

– Потери могли быть меньше, – сказал Ермолов.

– Против нас было втрое-вчетверо больше! – возразил Михаил.

Ермолов был настойчив. Он попросил нарисовать ему план сражения, и где были у горцев завалы, и откуда шла русская пехота, и где стояли пушки. Он открыл ящик стола, достал бумагу и карандаш и положил их перед гостем.

Что-что, а рисовать Михаил умел, и он изобразил на бумаге – все довольно подробно. Генерала это восхитило. И гость перестал быть для него только поэтом, написавшим стихи на смерть Пушкина. Боевой офицер! Поручик. Был в битве при Валерике. Он сразу снова перешел на «ты»:

– О-о, как ты рисуешь! Я держал бы тебя при себе, в штабе!

А как зовут Галафеева?

Лермонтов сказал, что генерала зовут Аполлон!

– Я не был знаком с ним, – сказал Ермолов с очевидной досадой. И вдруг рассмеялся коротко. – И правда? Аполлон? Что думали себе родители? Дают ребенку имя Аполлон! А вдруг он вырастет и окажется не похож на Аполлона? Что станется? – и снова – этот короткий смешок.

– Простите, что разговорился! Я волнуюсь за Павла Христофоровича. Он в меня. Слишком самостоятелен. Вон Раевский-младший допрыгался уже. А какой был генерал! И Вольховскому несладко. – Он опять перешел к Граббе.

– Еще эта женитьба. Нашему брату, старшим, не показано!

¹ Брак по договору. Человек (обычно знатный) покупает себе жену на время. Она ему предана и рождает детей. После ее можно отпустить. Сыновья при этом обычно остаются с отцом.

Наверное, он все знал, и то, что Лермонтов не сказал, тоже знал. Ему кто-то докладывает, что происходит там, в горах.

Ермолов помолчал и сказал с тоской:

– У нас не умеют ценить людей. Что, не так разве?.. Граббе – один из немногих, кого назначили по смыслу. И лишь потому, что хотели сохранить ермоловскую породу на театре войны! А то *наши*... (он без стеснения ткнул пальцем в потолок), назначая на место кого-нибудь – особенно военных – всегда выбирает самого бездарного!.. И ни разу не ошибся, что интересно! Ни разу!

Лермонтов не сразу понял, о ком речь...

– Но ты ж не продашь меня, я думаю! Я читал твои стихи!

И, помедлив, вернулся к прежнему: – Все-таки зря государь пощадил Дантеса. Отправил бы ко мне на Кавказ! Там есть такие места... Пошлешь человека и можешь считать по часам, через сколько минут его не будет в живых. И все законным порядком! (Он вздохнул откровенно.)

– Правда, меня уже не было на Кавказе. Но я приказал бы из Москвы кому-нибудь...

Он все еще готов был приказывать и был уверен, что подействует.

И вдруг сказал: Я бы тебе помог, конечно! В иные времена. Попытался б помочь. Но я теперь не у дел! Я только в истории!. – И короткий смешок, был знак, что разговор окончен. – Будешь в Москве – навести старика! Тебе тут будут рады!

Лермонтов поклонился и простился со старым Ермоловым.

IV

Он, недоблюбливал хозяев жизни. Всех, пред кем надо стоять навтыжку, на цыпочках даже, а они едва взглянут на тебя с вопросом: может, в нем что-то есть? («Это мой внучек, Мишель Лермонтов, пишет стихи и недурно говорят, – вдруг вам попадались в журнале г-на Краевского!») Он и сам знал про себя, что в нем *есть*, ему не нужны подтверждения. Он отказал бабушке в свое время в упорном желании ее представить внука Сперанскому. А потом Сперанский умер. И когда Дубельт, как дальняя родня, наезжал к бабушке по-родственному, находил способ отвертеться.

Хотя... По бабке сам он был из Столыпинах-Мордвиновых, куда уж там! А по отцу – только Лермонтов: род, укоренившийся на Руси всего два века назад. Безвестный шотландский ландскнехт перешел когда-то от поляков в армию царя Михаила Федоровича. (Людей, обремененных расовыми или этническими предрассудками, великие наши поэты могут раздражать, да и раздражают, наверное! Не распорядились толком своим происхождением: кого брать с собой из прошлого, кого оставить в забвении. Тот эфиопа или камерунца приволок, этот – безвестного шотландца.) Михаил прекрасно видел – его не обманешь – как родственники-Стольпины (старшие) презирали его родного отца и громко сочувствовали бабушке с таким зятем. Потому и выдумывал в отрочестве себе каких-то экзотических предков вроде испанского графа или герцога Лермы.

А с другой стороны... он и стольпинство ощущал в себе – всеми фибрами души... Почему нет? Противное двойничество – оно мешало ему жить. Он хотел быть *только Лермонтовым* – и не всегда получалось.

Все равно, на следующий день после приезда, он отправился на бал к графу Ивану Воронцову-Дашкову, хоть что-то внутренне подсказывало – этого делать не стоит, во всяком случае, в первый день. Кто-то наверху должен привыкнуть, что опальный офицер в отпуске все же, и может появиться где-то, а уж потом... Но пошел. В молодости все настроены к преградам относиться наплевательски.

Он вошел в зал и удивился: с ним здоровались, будто, сквозь сон – едва узнавали или плохо представляли себе – откуда он взялся? (Схоронили давно, а он вдруг возник.) И было неприятное ощущение: в зале нет, кроме него, армейских офицеров – или почти нет. В своем мундире Тенгинского пехотного он шел среди чужих. Стоило так швыряться жизнью на берегу речки Валерик с отвесными берегами! Он казался неизвестен почти всем, кто здесь собрался.

Нет, это только в первый момент, несколько минут... Вскоре, разумеется, объявились знакомые. И в немалом числе. Конечно, узнали, конечно, рады – как без этого? Появились даже люди, мало-мальски близкие. Но все равно осталось дурное впечатление от первых встреч и слов.

К нему подошел Соллогуб и сказал испуганно и от испуга – даже громко.

– Лермонтов, что ты делаешь здесь? Ты рискуешь, ей-богу!

– Чем рискую?

– Скоро прибудет государь!.. Я боюсь за тебя!

– А зря! Я не подвергнут уголовному наказанию!.. Просто переведен в другой полк! Армейский офицер. И теперь в отпуску.

– Смотри, как глядит на тебя великий князь!..

Лермонтов поднял голову. На той стороне зала, в окружении светской публики и с двумя адъютантами стоял великий князь Михаил, фельдцейхмейстер и начальник гвардии. Его отношение к Лермонтову несколько раз меняло знак. Из доброго на насмешливое, а после – раздраженное и злое. В данном случае, он взирал на него, мягко сказать, без особой приязни.

К счастью, рядом с ним была его жена – великая княгиня Элен. Она улыбнулась Лермонтову. И даже сделала какой-то приветный знак рукой...

Эту женщину не любили при дворе. Да и в свете она не была любимицей. Но она была другом Жуковского и Софи Карамзиной и очень начитанной дамой. И поэты посвящали ей стихи и дорожили ее вниманием. К счастью, муж обожал ее.

– Тебя могут арестовать!

– За что? помилуй Бог!

Проходивший мимо в тот момент, хозяин дома, Иван Илларионыч Воронцов услышал и бросил успокоительно:

– У меня не арестуют!.. – Его колбасные длинные баки качнулись убежденно.

– А что ты? – спросил Лермонтов Соллогуба, переводя разговор.

– Да вот! Женился, ты слышал... Не одобряешь, конечно?

– Почему? раньше или позже эту глупость делают все. Боюсь, я тоже не буду исключением. Ты позабыл, это еще при мне было.

– Но только помолвка!

– А что изменилось? Софи Виельгорская?..

– Теперь Соллогуб. А кто мог быть еще?

– Поздравляю. Прелестное существо!

– Но учти, я ревнив!..

– Не беспокойся! Мы в этом сродни!. Если сумеешь удержать...

Я хотел с тобой поговорить. Но это как-нибудь потом... – добавил Лермонтов.

– О чем?..

– М-м... разумеется, не о моей женитьбе. Да и не о твоей.

– Так о чем же тогда? – улыбнулся Соллогуб.

– Ну, хотя бы о журнале, который мы собирались с тобой выпустить.

– Но ты, я слышал, только в отпуске?

– Отпуск может продлиться.

– Тогда конечно. Готов. Ты пишешь что-нибудь?

– Сам не знаю. Пишу? не пишу? Воюю – это правда!

– Успешно? А стихи?..

– И стихи. Немного...

– Разве – это не писанье?

– «Писать стишки – еще не значит проходить великое поприще!..» Слышал, должно быть?

– Да. Кто-то сказал после смерти Александра Сергеича!.. По поводу статьи в «Русском инвалиде».

– В «Прибавлениях». Один князь повторил слова одного графа.² То-то. Если про Пушкина говорили такое – чего ждать нам с тобой?..

Расстались на сем. – Наверное, Соллогуб пошел ухаживать за женой. Можно посочувствовать! Впрочем, его жена прелестна. Недостижима – вот, беда! Хотя беда не моя!

Где-то в половине девятого прибыли государь с государыней. Присутствующие образовали полукольцо и все обратились лицами ко входу. Николай I вошел своей известной походкой – слишком твердой, чтоб казаться природной и истинной.

Он обвел взглядом гостей – мир, которым правил, – он подчеркнул это взглядом, непонятно как, – но было очень явственно именно это, и все ощутили эту власть. Лермонтову показалось даже, государь окинул беглым взглядом и его неказистую армейскую фигуру.

Начались танцы, и он остался в стороне. Он не любил танцев – то есть любил, но не всегда, – шел танцевать лишь тогда, когда надо было кому-то уделить вниманье.

Прошел мимо Воронцов и сказал, также, на ходу: – Кажется, вас совсем расстроили! Не бойтесь! Здесь вам рады.

Хотя бы это!.. Потом из толпы танцующих вынырнул Трубецкой Александр:

– Лермонтов! А я тебя не сразу узнал!..

– Ничего. Я сам себя не всегда узнаю.

– И как ты себя чувствуешь здесь?

– Ужасно! Привык видеть воюющую армию. Но видеть танцующую...

– Ты слишком строг к нам. Впрочем... Так думают почти все, кто приезжает с Кавказа...

Мой братец думает так же. Он теперь – там, у вас.

– Ты хотел спросить – видел ли я его? Видел. Он ранен, но жив.

– Я знаю. Ты – странный сегодня!..

– Почему только сегодня?..

Пушкин ругал свет на чем свет стоит, но любил его и был человек светский. Лермонтов ненавидел свет, но не мог без него обойтись. И презирал себя за это. Вот такая разница!

Показалась та самая Александрин. Хозяйка дома. Вышла из танца, обмахиваясь веером. И ради него бросила круг поклонников.

– Лермонтов!

Он быстро подошел. Он сердился на нее за Алексиса. Но это не мешало ей быть обворожительной. Может, самой очаровательной здесь в зале. Такая может все позволить себе. Ей-ей!..

И, когда она умрет, все равно ее будут помнить такой. Он улыбнулся. Кажется, впервые за вечер.

Она сказала: – Ой, нет! Вы мне не нравитесь сегодня!

– Я спросил бы о причине! Но я, к сожалению, давно знаю ответ! – сказал он.

– Нет-нет, не потому! Вы худо скрываете, что вам здесь нехорошо!

– Что мне остается? Похвалить вашу пронизательность?

² Слова министра Просвещения графа С.С. Уварова, пересказанные князем М.А. Дондуковым-Корсаковым, председателем Цензурного комитета.

– В какой-то мере, да! – и взяла его под руку. – вы считаете меня легкомысленной, я знаю. Но все же... Я не так легкомысленна, как мой муж. Можно я вас провожу через внутренние комнаты? – и стала выводить его из зала.

– Зачем? – удивился он, подчиняясь.

– На вас плохо смотрят некоторые! Я боюсь за вас!..

– Кто смотрит? – спросил он растерянно.

– Те, кто властен над нами грешными. Мне что-то не понравилось, не могу сказать – что. Но я боюсь.

Они прошли длинной анфиладой личных графских покоев. Он не удержался, разумеется...

– Ого! – бросил насмешливо и, словно, удивленно. – А что скажет мой друг Алексис? Если узнает, что я побывал почти – в святой святых? Возле самой спальни королевы?

– То же, что говорит всегда: что я плохо себя веду. Для семейной женщины, имеющей к тому же в друзьях одного из самых заметных в свете поклонников. – реверанс в адрес Столыпина.

Нет, правда, она была непостижима. Оттого и недостижима ни для кого!

Через внутренние покои они спустились по другой лестнице.

– Сейчас я кликну слугу вызвать вам карету!

– Зачем? Я могу пройти пешком!

– Нет-нет! – сказала какая-то дама, отделяясь от стены. Она тоже вышла, кажется, через внутренние покои: была здесь своей. – Оставьте его мне. Я отвезу его.

– Как кстати! тогда я вас покидаю, – сказала графиня. – Но оставляю в прелестных руках (Лермонтову). И расцеловалась с женщиной.

– Вы меня не узнаете? – спросила дама.

Юность – даже самое начало ее... Женская прелесть и зависть к тем счастливым, кто уже может ухаживать откровенно за этим чудом. Кто-то может объясняться в любви. А он еще мал, еще незаметен. – Она была старше его ненамного.

– Не узнаю. Нет. Да! Додо Сушкова!..

– Евдокия Ростопчина.

– Конечно, позабыл! Вы замужем и счастливы!

– Я замужем и несчастна. Мы с графом разъехались. Во всяком случае, живем в разных городах.

– Я никому не скажу, не бойтесь!

– Не стоит бояться. Это все знают.

– Так, значит, у меня есть какие-то надежды? – спросил он.

– А вы нуждаетесь в них?

– Нет. Если честно! Пока нет.

– Вот видите! Лучше проводите домой. Я устала от некоторых лиц в этой зале.

– У нас обнаруживается сродство душ.

– Всегда обнаруживалось. Хотя... Не выдумывайте! У Печорина ни с кем не может быть родства души.

– Кроме такой, как вы. И потом – я не Печорин.

Они сели в ее карету, поставленную на сани и покатали по сонным улицам, где сугробы достигали первых этажей.

– У вас нынче – снежная зима!

– А у вас? – спросила Ростопчина.

– Я – нездешний. У *меня* там почти нет снега. Только горы. Но это смотрится благословенно. Я читал ваши стихи. Вы не обидитесь, если скажу, что вы – поэт? Некоторые мне понравились. Очень.

- Почему я должна обидеться?
– Похвалы всегда кажутся неискренними. Мне во всяком случае! И... это смутное занятие – поэзия. И в наше время вообще разучились писать стихи. Даже французы.
– Вы лжете, как в юности! Вам слегка понравилась я, и вам сразу стали нравиться мои стихи!..
– Почему это лгу? Правда, нравятся.
– Но Лермонтову не могут нравиться стихи какой-то Ростопчиной! Я понимаю в различиях!
Они помолчали. Может, прошел век... Да они и подъезжали уже к ее дому на Почтамтской.
– Почему мы не встретились раньше? Когда я был еще здесь?
– А что бы это изменило? Я бы стала лучше писать? Оставьте! Во-первых, я жила с мужем в Москве и очень долго пыталась выстроить эту свою жизнь.
– Да. Говорят, он у вас оригинал.
– Мне вообще везет на оригиналов!..
– Говорят, вся ваша квартира полна книг!..
– Да. Он их собирает. Но не читает! Хорошо, что мы не виделись с вами. Я на вас сердилась!
– За мою шутку с вашей кузиной Катишь?
– Да. Зачем вам понадобилось разрушать ей жизнь? Да подайте же мне руку, как следует – невоспитанный вы человек!..
– Подал! – Он, правда – задумался и не сразу протянул руку. Она как раз выходила из кареты и ступила на снег. На том они расстались.

V

Ее карета довезла его до дому. Он хотел броситься следом за ней – назначить встречу или хоть наутро нагреть с визитом, – если ему что-то понравилось, он старался не выпустить из рук, так был устроен. Он не любил светских женщин, ибо не верил в их любовь. Но внимание их ему нравилось, более того, он в нем нуждался. Оно приносило с собой признание общества в целом, а без этого он почему-то обойтись не мог.

Но поутру явился посыльный с вызовом в Главный штаб, к дежурному генералу. Начинается! Кто-то выламывал его из жизни. Или заботился выломать. Он посерел сразу, расстроился: ему быстро напомнили о его положении в мире. И, чертыхнувшись несколько раз подряд (иль ругнувшись грубей!), облачился в мундир чин по чину и отправился.

Генерал Клейнмихель Петр Андреич заставил его с полчаса прождать в приемной без толку. (Здесь он мог только предаваться созерцанию парадных портретов персон, которые, в отличие от него, власти нравились.) А после его приняли с явным желанием прочесть нотацию – или сделать выволочку. Правда, он к тому приготовился заранее.

Клейнмихель был генеральского росту и возрасту, но голова маленькая и очень широкая шея, а щеки, под короткими баками, уже сильно отвисали книзу, чуть не ложась на воротник.

Генерал сперва поставил сакраментальный вопрос: почему молодые люди так склонны вредить себе и вести дело к разрушению собственной судьбы?

Что на это ответишь?

Они были знакомы. Клейнмихель его допрашивал когда-то от имени государя. «Дело о возмутительных стихах» на смерть Пушкина. И кто их распространял...

Лермонтов скромно возразил, что он ничего не собирался разрушать (даже в собственной жизни, как бы ничтожна она ни была!), но просто только что приехал с Кавказа, с боевых позиций, и плохо представлял себе, чем мог бы навлечь на себя начальственное неблаговоление.

Взгляд генерала было трудно поймать: устремленные куда-то в бумаги на столе, глаза будто искали мысль, которую власть имущий собирался высказать, и лишь иногда вскидывалась маленькая головка, чтоб обнаружить на лице или удивление словами гостя или укор ему. Чаше и то, и другое. Он продолжил речь о молодых людях вообще, и о том, что они вечно делают лишние шаги.

– А молодой человек не должен делать лишних шагов! – добавил он с акцентом на слово «должен». Лермонтов вновь продемонстрировал некоторое замешательство от непонимания.

– Как так? – сказал Клейнмихель уже несколько рассерженно. – Вам ведь дали отпуск для свидания с бабушкой, которая просила об этом государя! Не так? М-м... она опасалась, что годы и здоровье, к прискорбию нашему, могут не позволить ей увидеть внука? Но вы, вместо того, чтоб видаться с бабушкой расхаживаете по светским раутам!

Пришлось объяснить, что бабушка не знала точно, когда ему дадут отпуск – ей не сообщили. И уехала в деревню, спасаясь от одиночества и сплина. А теперь ей так сразу не выбраться из Чембарского уезда. То ли все в снегу, то ли ранняя распутица. В общем, бездорожье. И они с бабушкой еще не свиделись. Естественно, ему показалось одиноко в пустом доме. Он куда-то направился.

– А что касается бала у князя Воронцова-Дашкова, то... Ваше высокопревосходительство! Во-первых, я был приглашен княгиней и князем, а во-вторых... хотелось после разлуки увидеть знакомых и друзей, вот и все. И я никак не сообразил, что это может кого-то рассердить.

– Ну, Михаил Юрьич! – так правильно? – заговорил Клейнмихель уже почти интимным тоном (Лермонтов кивнул), – не нужно мне вам, светскому человеку, объяснять то, что и так понятно. Пребывание на бале, в доме, где можно ожидать и государя с семьей и великих князей – опального армейского офицера? к тому же, чуть не в день приезда? (офицера, который, только недавно за тяжелый проступок, был переведен из гвардии в армию и отправлен на Кавказ... в надежде на его, то есть, офицера, исправление?). – Это может поколебать какие-то устои порядка, принятые в нашем отечестве под управлением нашего благословенного монарха!

Лермонтову пришлось признать, что он и в данном случае плохо понял высочайшую волю.

– Согласен, сказал он. – Согласен! Только... Я ехал из экспедиции. – В Чечню, вы наверное, слышали? – отряд генерала Галафеева. Были большие бои, потери... На меня пришло или должно прийти два представления к наградам за эту экспедицию. И я не числил себя в этом случае опальным офицером. Но только боевым, армейским, получившим отпуск.

– Я понимаю, – сказал Клейнмихель. – Понимаю. Конечно, вы все еще молоды и рассчитываете на то, что представления к наградам – это уже награды. Мы в молодости все таковы, я тоже был таков. Но этот шаг бестактен, я бы сказал. Несколько неприличен. А представления к наградам... Это все хорошо, но может ничего не означать. Надежда, не боле. Как на эти представления посмотрят здесь... высшее начальство?... Вы – храбрый офицер, не сомневаюсь... Но это вовсе не снимает с вас прежней вины. За прошлую провинность вас быстро, может, слишком быстро, вернули в столицу и в гвардию... но вам захотелось чем-то вновь отличиться. Я имею в виду дуэль с г-ном де Барантом.

– Я чту закон, – сказал Лермонтов, – и подчиняюсь его строгости в этом смысле. И все же... В этой дуэли не было моей прямой вины. Г-н Барант вызвал меня первый... и, если уж совсем по правде – он на дуэль нарвался. Оскорбив честь русского офицера. Не защищать эту честь я не мог. Это – мой долг, опять же, офицера.

– Ой! Слово «нарвался» – уж совсем какой-то площадной жаргон, – развел руками. Клейнмихель. – Простите! Вы ж не просто – армейский поручик, но, говорят, еще писатель!

Он дал понять, сам не читал, конечно. Однако, «говорят»...

– Но вы ж, по-моему, осмелились предложить противнику новую дуэль?

– Это была шутка. В порядке беседы. Я не виноват, что г-н Барант, со страху, наверное, разнес ее... а его матушка, к глубокому удивлению моему, отправилась с этим к великому князю. Не думал, что Барант пожалуется матушке. Молодой человек, светский, ищет защиты у матушки? Согласитесь, не комильфо!

– Соглашусь! Хотя... Г-н де Барант – сын французского посланника, и ваша дуэль имела еще сложности дипломатические!

– Но Барант сам вызвал меня!

– Я знаю.

Воцарилась пауза. Клейнмихель вновь углубился в бумаги на столе. И Лермонтов ерзал в кресле, хоть старался не ерзать. Ну, нет терпения, ей-богу!

Но генерал выдавил наконец... – Я тут смотрю... великий князь даже высказывал мнение... «выписать в один из армейских полков тем же чином с воспрещением представлять к производству... увольнять в отпуск и в отставку...» Но государь счел достаточным ограничить наказание! – Примолк.

– В вашем деле была явлена вся мягкость окончательного решения государя. Но это не означает совсем, что с этим решением можно спорить!..

Лермонтов жил в то время, в которое у нормальных людей рождалась привычка пропускать слова, словно сквозь сито. Лишь бы понимать в общем смысл... И он слышал только... «воспрещение» «представлять к производству»... «отпуск»... «ограничить наказание»... Но слушал внимательно.

– И мой вам совет: прибыли в отпуск, не так ли? Прекрасно! Видайтесь с бабушкой, с близкими. Кто мешает? Но не напоминайте слишком о себе. Иначе кто-то подумает, что вы уже прощены, и, стало быть, наши законы не на всех распространяются! От вашего поведения во многом будет зависеть то, как отнесутся здесь к вашим э-э... представлениям к наградам, которые, по-моему, еще не пришли. Придут!

Они простились. Выйдя из здания Главного штаба, он смачно выругался. Стоило бросать свою жизнь на завалы при речке Валерик!

Возможность высказаться на солдатский лад сейчас спасала его.

...Горцы уже отступили, и они стояли с Володей Лихаревым спокойно у речки, беседуя о возвышенном. О Канте в тот момент. Тут упала смерть и унесла Лихарева. Случайный выстрел разменял одну судьбу на другую, вот всё. Разговор о Канте. Так обваливается культура под напором времен. Убит! Лихарев мог быть вместо него и тоже думал бы сейчас об этом. И кто высчитывает там наверху за нас эти шансы в игре?.. «Считайте кочки, господа, считайте кочки!» – Когда садишься за стол, никто из вас не представляет себе, как сыграет партнер – или как кто-то или что-то *там* сыграет с партнером.

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым... Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще именно *хотим*...»³ Ну и так далее. Кант.

Он сам не заметил, как от гибели Лихарева стал незаметно отсчитывать и время собственной жизни. Мысли чаще обращались к прошедшему, чем к будущему. Лихарев был несчастлив, как он сам – такие вещи сближают. Он был одним из «ста братьев» декабря 1825-го.

Сам Лермонтов к тем событиям относился двояко. Он, кажется, ровно винил тех, кто выиграл и тех, кто проиграл. «Богаты мы, едва из колыбели ошибками отцов и поздним их умом...» (Романтические стихи и поэмы не означают вовсе романтического мышления в поли-

³ Запись декабриста Н.И. Лорера в альбоме дочери Капииста. Приводится по кн. В.А. Захарова «Летопись жизни и творчества Лермонтова». С. 484.

тике.) Но среди участников катастрофического действия, у него было много знакомых на Кавказе и двое близких друзей: незабвенный Саша Одоевский и Володя Лихарев.

Придя домой, он написал Александру Бибикову, на Кавказ:

«Биби! Насилу собрался писать к тебе; и начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка просила о прощении моем. А мне дали отпуск; но я скоро еду опять к вам и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда, в Петербург, на половине масленицы, я на другой же день отправился к графине Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я принят был очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень занимательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».

С «Валерикским представлением» он явно торопится – еще ничего не известно. «Новая драма», которой развязки он не ждет – это, конечно, Евдокия Ростопчина.

(Биби был его родственник и друг – оба учились в школе гвардейских подпрапорщиков, только Биби был моложе и выпустился из школы поздней, и сразу отправился на Кавказ. А теперь вот вместе в армии.)

«... я не намерен очень торопиться; итак, не продавай удивительного *лова*, ни кровати, ни седел; верно, отряд не выступит раньше 20 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для нашего общего обихода Лафатера и Галя и множество других книг.»

«Лов» – черкесская лошадь, которую он хочет для себя сохранить – и седла тоже.

Столыпину, пришедшему навестить его – Монго волновался, естественно, – он бросил коротко:

– Мои представления, считай... накрылись!

Если, по правде, он был в отчаянии.

– Почему ты так решил?

– Им не нужно, чтоб я был храбр, понимаешь? Или вообще чем-то путным отличился.

Им не нужен даже этот повод – дуэль с Барантом. Им просто не нужен здесь я!

VI

«Я сам себе не нравлюсь!» С этой мыслью он сел в почтовую карету в Ставрополе, домчался до Воронежа, с ней же пересел в сани (хотя дорога уже начинала подтекать) и въезжал в заснеженный Петербург в начале февраля 1841-го. Мертвый чеченец у дороги, привалившийся к камню, был одной из граней этой мысли. Другой гранью был Лихарев. Он и тот чеченец с бородкой, почти детской, вздернутой в небо, были сродни и связаны меж собой. И с ним тоже.

В таком настроении, более, чем мрачном, он отправился на Гагаринскую, к Карамзиным, пешком. Благо, было недалеко.

Софи Карамзина, старшая дочь историка, мало, что обрадовалась его появлению – была просто счастлива. Наверное, любила его. Наверное, он это знал. Но она была старше на двенадцать лет. А заносчивый Лермонтов думал однозначно: «В тридцать два года считать себя еще способной возбуждать страсти!» – как-то воскликнул по сходному поводу. Так что... Он предложил ей дружбу, как стали говорить через век. Она подарок приняла. Но друг была верный. Они с удовольствием свершали конные прогулки вместе. Наездник она была отличный.

Он поцеловал ей руку и, подумав, поцеловал еще другую.

– Я счастлива, что вы здесь! – сказала она.

– Я сам счастлив!

– Вы уже насовсем к нам?

– Нет, вряд ли!.. Судя по всему...

– Вы читаете сегодня стихи?

– Лучше в другой раз, – сказал он, – не обидитесь? В другой раз!..

В гостиной оказалась, кстати, Ростопчина – он не знал, что она тоже бывает в этом доме. Ах, да, раньше она жила в Москве! Он ей поклонился издали – любезно, но отчужденно. Она была занята каким-то знакомым. Могла бы и подойти! Он сам нашел какой-то угол и забрался в него, бирюком. Такое с ним бывало.

Подошел сияющий – одни духи и блеск – Соллогуб.

– Ну, что? Поговорим о журнале?

– Нет. У меня сегодня не журнальное настроение. Даже не альманашное!.. А почему ты без жены?

– Я не всегда беру ее на литературные вечера. То есть, она не всегда присоединяется ко мне (поправился). К тому ж... Она себя чувствует неважно.

– Ей мой привет и сожаления! А что – разве тут нынче литературный вечер?..

– У Софи Карамзиной обычно так. Разве не помнишь? Но ты давно не был... Ты прочтешь нам что-нибудь?

– Нет... Я и хозяйке сказал «нет»! Она не обиделась.

– Ты вправде... Но здесь это теперь часто. Как-никак, это – дом Карамзина! – и, конечно – литературный салон. – Сказано было несколько возвышенно.

– Прости, я забыл! Приятно наблюдать в нашем поколении такой пиетет к старшим!

– Ты разве не испытываешь его?

– А как же! Испытываю. Но я могу им дать фору вперед. Как в шахматах! Или сеанс одновременной игры...

– Даже Пушкину?..

Лермонтов пожал плечами и не удостоил ответом.

– А ты наглец!.. – сказал Соллогуб с тайной завистью.

Теперь вот и Соллогуб женился. На той, кого охаживал несколько лет и кого безумно ревновал к Лермонтову. Средняя дочь Виельгорского, «Как небеса твой взор блистает – Небесной чистотой...» Все повторяли: «Ангел, ангел...» Софи в самом деле была необычное существо. (Гоголь и тот заметил, а уж до чего ханжа!) Сам голос ее покорял небесной чистотой (по мнению Гоголя, может, правда?).

Это она сказала как-то про их с Соллогубом насмешки над светом:

«В свете всегда душно!..» – ляпнул кто-то из них. – Софи была еще совсем юной.

«– Да нам-то что за дело! Если женщины румянятся, тем хуже для них. Если мужчины низки – для них стыднее! И почему искать в людях одно дурное? В обществе, я уверена, пороки общие!»

– Соллогуб вставил это речение потом, слово в слово, в свою «повесть в двух танцах» об их с Лермонтовым соперничестве – «Большой свет». Там Лермонтов (правда, не совсем Лермонтов) выведен под именем Леонина, а сам автор князем Щетининым (тоже не совсем Соллогуб, но князь вместо графа). Барышню в повести звали Наденька (Надин).

Жесткий Лермонтов сделал вид, что не обиделся на повесть. Даже Белинскому расхваливал ее. Что он думал о ней и сейчас никто не знает. Только не терпел, когда списывают живую жизнь впрямую, вовсе не изменяя ее. Хотя сам пользовался часто этой жизнью как материалом. Но аккуратно, никто не скажет. Аккуратно. Бог с ним! Каждый пишет, как умеет и как дано. Повесть вышла из печати несколько неловко по времени для Соллогуба: как раз, когда его «Леонин» был заперт в Ордонанс-гаузе за дуэль с Бараном. И уже там узнал об их помолвке с «Надиной» (Софи). В финале назревает дуэль двух соперников, и незадачливому Леонину друг его Сафьев дает совет:

«— Ну, душа моя, жаль мне тебя. Но дело это конченное! — Она будет любить не тебя, которого она не знает, а Щетинина, за которого она боится, и потом, душа моя, Щетинин князь, человек светский, богат, хорош, и влюбленный, а ты что? Поезжай на Кавказ!..» Он и поехал.

Вышло так, будто, Соллогуб — коллега по перу, знал заранее, какова будет высочайшая конфирмация по делу Лермонтова о дуэли с де Барантом. Но, честно говоря... Михаил вовсе не ухаживал за Софьей Виельгорской — просто любовался ею... И со смешанным чувством восторга и сострадания наблюдал ее. «Небесное существо»! Да! Но что станется с ней на светских паркетах? «После и она будет, как все... а теперь еще нет» (так было в повести).

Позже Лермонтов все же сошелся за столом с Ростопчиной.

— Вы сказали, вам нравятся мои стихи. Какие? — спросила она насмешливо и строго. Хоть, верно, не без волнения.

Он сходу назвал два-три стихотворения. Притом не по названиям, а по первым строчкам...

— Подготовились уже? — улыбнулась она.

— А как же! — И впервые за этот вечер улыбнулся сам. — Вы мне нравитесь!..

Он уж вовсе не представлял себе, что случилось теперь со старой его знакомой Додо Сушковой, ныне графиней Ростопчиной на светских паркетах. Когда-то она была мила. Но на всякий случай сказал ей: «Вы мне нравитесь!»

— Злитесь за кузину! — подумал он в прошлую встречу, расставаясь с графиней у ее дома.

VII

Москва, Молчановка, Большаково, Средниково... названия отскакивали от души, как былые страдания, которые теперь, право, смешны. Ну кто не знает, что барышни вырастают раньше нас и им нравятся молодые люди постарше? И кому нужен был низкорослый мальчик с огромным томом Байрона подмышкой, что мнит себя взрослым, лишь потому, что пишет неплохие стихи?..

Додо Сушкову, ныне Ростопчину, он знал со своих пятнадцати примерно. Она тоже нравилась ему в те благословенные времена, когда нам решительно все нравится. Но она была старше на три года. Это был непреодолимый барьер. Естественно, она казалась много старше, а в его шестнадцать — уже совсем взрослой. И смотрела на него как на мальчишку. Потому он наспех влюбился в ее кузину. Последующая история с Катей Сушковой не красила его, и он это сознавал. Особенно теперь, когда жизнь уже не представлялась романтическим путешествием, и Байрон не занимал в ней столько места...

Но в том страшном и отдалившемся прошлом он никак не мог простить небрежения к себе... Мучился. А Катишь отличалась им больше других знакомых девиц. Хотя... Были и другие барышни рядом, были и другие. И он увлекался также ими. По очереди. (Кто следующая?) Но он решил ненадолго, что любит только ее, что это и есть та самая, неразделенная страсть. Его судьба и знамение трагедии. «Нет, я не Байрон, я другой...» (Другой, другой... Никто ж не знает, что с тем «другим» он довольно скоро сможет сравниться. Возможно даже превзойдет! Станет мощней и несчастней печального английского гения, который и сам по себе был вызов судьбе. И что он сам тоже будет такой вызов.)

Еще, к несчастью... Катишь была довольно умна и ценила его стихи — пожалуй, больше, чем их общие подруги... И почему-то это обстоятельство делало небрежение к нему еще более обидным. Тут это касалось поэзии... Или вечного спора, кто главней: Поэзия или Красота? (Спора, который выведет Пушкина на Черную речку.)

Но поздней, когда они оказались с ней вместе в Петербурге, в петербургском «свете»... То есть, когда Михаил вышел уже из юнкерской школы гусаром, офицером, корнетом... И входил в залу уверенно, в перчатках и иногда даже при сабле — все обрело иной вид или смысл.

Она сама влюбилась в него: такой расклад! – не зная, конечно, что сделается целью жестокого отмщения...

К тому ж... она была в тот момент фактически засватана. И кем? Алексисом Лопухиным, его близким другом и родным братом Вареньки! О Вареньке потом. «История души человеческой, даже самой мелкой души – едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...» Я и пытаюсь коснуться елико возможно – именно этой «истории души» – а здесь ничего и никогда нельзя сказать определенно...

Катишь была засватана. И Алексис должен скоро приехать из Москвы, и Михаилу нужно было еще убедить себя, что он все делает для него – для Алексиса. Чтоб не дать *ему* ошибиться выбором.

Он влюбляет в себя девушку, как тот самый Вальмон из «Опасных связей» и в классическом стиле бросает ее, когда она уже отказала предыдущему поклоннику. Надо сказать, ее столь быстрый отказ Алексису сделал его на момент почти уверенным в своей правоте. «Эта женщина – летучая мышь, крылья коей цепляются обо все встречное...» Шут задвигает занавес. Зрители бурно аплодируют. А барышня весьма непростой судьбы – сирота, воспитанная родственниками, – остается одна... да еще осмеянная бывшим неотвязным поклонником.

Вдобавок ко всему... Представьте, эту историю он аккуратно излагает в письмах не одной лишь Саше Верещагиной, общей подруге его с Варей и кузине (хотя и отдаленной по степени родства), но еще и в письмах к Марии, родной сестре Вари. И, естественно, всё узнал брат Вари, его друг – все тот же Алексис Лопухин.

Нет-нет, все кончилось благополучно в итоге: и Алексис удачно женился, и Катенька вышла замуж за дипломата Хвостова, Лермонтов был даже гостем на ее свадьбе – хотел быть даже шафером.

«Он был дурен собой, и эта некрасивость, уступившая впоследствии силе выражения, почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые черты его лица, была поразительна в его самые юные годы. Она-то и решила его образ мыслей, вкусы и направление молодого человека с пылким умом и неограниченным честолюбием», – таким будет видеться он много лет спустя Додо Ростопчиной.⁴

А теперь в Петербурге, в следующую их встречу Додо все ж продолжила тему:

– Зачем вы это сделали?

– Видите ли... Алексей Лопухин...

– Я говорю о ней, не о нем! – и старая песня про сироту, воспитанную родственниками, – которым не терпелось, конечно, выдать ее замуж. И ей необходимо было замужество.

– Чего вы этим добились, Печорин? – то ли насмешливо, то ли зло.

– Но Алексис... мой друг. И родной брат близких мне людей.

– И Вареньки, которая теперь Бахметева. Я знаю.

Зло было сказано. Что уж тут таить? Упомянуть еще Вареньку...

Ко времени разговора Варя Лопухина давно уже замужем и давно носит фамилию Бахметева. Она вскоре после его истории с Катей Сушковой, сама обручилась с г-ном Бахметевым, помещиком тамбовским, старше ее чуть не двадцатью годами. (Впрочем, по тем временам – почти норма.)

– Ладно, допустим! Алексис очень добрый человек! Я знаю его с детства. Он не выдержал бы такой нагрузки в жизни, как ваша кузина! Виноват! Но дальше я хорошо себя вел! Я даже был чуть не шафером на ее свадьбе!.. У этой истории счастливый конец.

– Вы думаете?

Но ей он все же сказал – глаза в глаза:

– Вы мне нравитесь!

⁴ Письмо к А. Дюма-отцу.

Не мог сказать того, что думал про себя: «Я сам себе не нравлюсь!»

VIII

Скажем откровенно... Когда приехала бабушка мы точно не знаем, на этот счет разные мнения. Приехала и все. В начале его пребывания в Петербурге? В середине? Но писать Лермонтова без его бабушки просто нельзя. С полотна исчезает чуть не главный персонаж.

С ее приездом, пошли семейные разговоры: перемолвки, недомолвки, перебранки, распросы. Планы – большей частью, неосуществимые. А он устал и от собственных.

– Ты хоть скучал по мне?

– Разумеется!

– А почему не писал? Некогда было?

– Так у вас же там с дорогами плохо! Пока дойдет!..

– Не верю все равно! Нынешняя молодежь разучилась скучать по ближним. У них будто притупилось что-то!..

Он пожал плечами. Тем более – правда. Что скажешь? Нет, бабушку он любил. (А кого ему еще любить?) Он с трех лет без матери и с шестнадцати без отца.

Он выслушивал заново историю своей семьи, которую, разумеется, отлично знал.

– И за что мне это все? Мужа уносит в расцвете сил от неизвестной болезни. Я остаюсь одна с ребенком на руках...

...Что-что, а историю смерти деда Арсеньева ему влили в уши раньше, чем все другие полезные вещи. Он же все-таки воспитывался в Тарханах, потом в Москве. Там много кто мог порассказать.

Дед покончил с собой, когда узнал, что к его любовнице, соседке-помещице, вернулся ее муж... А вот повесился ли он в сарае или принял яд – о том рядили розно. Да это и не имело никакого значения.

– Ты не слушаешь меня? Если бы ты знал, какой она была красивой – маленькая! Твоя мама! Ты таких детей не видел. Да теперь, по-моему, и не рождается таких!.. Куклы не бывают такие красивые! – Слезы.

Мать Михаил помнил только по голосу и по портрету в гостиной. Голос был божествен. И так как он потерял ее, будучи неполных трех лет, он долго считал, что голос был *оттуда*.

– Сам Сперанский приезжал утешать меня, когда ее не стало!..

Нет, она, все же, понимала что-то про себя, про этот мир... Ее отец дружил со Сперанским и тогда, когда тот был в опале, и братья с ним дружили. И в ее глазах Сперанский или Мордвинов (тоже родня!) чем-то отличались от тех, кого она упорно ставила в пример внуку. «Отец – Столыпин. Дед Мордвинов!» – Рылеев писал, не кто-нибудь. Правда, этого, должно быть, она и не знала.

В Тарханах, совсем маленьким, он спал в комнате, где ночью горели свечи. – Чтоб не испугался темноты – так решила бабушка. Рядом храпела нянька. Гувернер был в соседней комнате. Тоже почивал, наверное. Спал Миша плохо, с просыпаниями, и иногда плакал во сне. Бывало, он среди ночи подымался тихо, брал свечку и босиком пробирался в гостиную... Там висел портрет матери. Он протягивал свечку к портрету и подолгу разглядывал его. Свеча покачивалась в руке, и портрет был весь в тених. Скользили тени. Знает ли она *там*, что он – *здесь* сейчас, и он смотрит на нее?.. Он не понимал, что такое «там» – но знал, что оно есть. При свече глаза матери казались много больше и темней, чем на портрете днем. Он обливался слезами. Он был уверен про себя, что это, на портрете – *ангел*. Позже, в обществе, ему порой встречались дамы, чуть-чуть, слегка, напоминавшие мать. Тогда какое-то время он отличал их от всех прочих...

«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услышал ее, она произвела бы прежнее действие... Ее певала мне покойная мать...»

– И зятек выдался – прости меня, Боже! – И ты уж прости! Но не могу! Ты, конечно, любил его – ясно, сын. Это заповедано – любить отцов. Что тут поделывать!..

...Отца он уже хоронил сам. – В шестнадцать лет. От него скрывали многое... что отец, к примеру, незадолго до смерти ее, оставил мать. Уехал из Тархан к себе в Кропотово. А распри отца с бабкой за него, за Михаила, были его болью все детство. «Ужасная судьба отца и сына / Жить розно и в разлуке умереть...» Он любил отца, только плохо знал. Но был уверен почему-то, что понимает. «И жребий чуждого изгнанника иметь / На родине с названьем гражданина...» Отец его тоже был «чуждый изгнанник». Отец уехал потому же, почему он сам не решился бы ввести в дом жену при жизни бабушки. Не зря она сама об этом откровенно просила: «Не женись при мне!»

Дня три шли примеры удачных судеб, какие приводились ему всегда и служили чуть не главным приемом воспитания. Дети Шуваловых, дети Апраксиных... («Или у них не сын, у них дочь?.. Ошиблась. Стара!») Вообще другие – успешные дети. Особенно Столыпина. – Нет, твой главный друг Алексей Аркадьич, конечно, шалопай. Не то, что Алексей Григорьевич! Как славно женился на Маше Трубецкой! На свадьбе быть оказали честь сам государь с государыней! Он знал, он сам был на этой свадьбе, как родственник.

(И что ей сказать? Что Маша Трубецкая – светская потаскуха, и бедный Алексей, что скажешь! Она была до замужества любовницей наследника и так же Барятинского. И как бы потерпела бабушка такую невестку!)

Примеры! И какие наглядные!

Бабушка очень гордилась своей родней и приняла бы в штыки любое возражение. Столыпина были её больное место.

– У графов Шуваловых сын тоже провинился было – даже государь его сам увещевал. А теперь, смотри, как пошел!.. (Он тоже был бы непрочь, чтоб его государь лично увещевал. А не высылал из Петербурга.) И Барятинский Александр учился в юнкерской школе много хуже тебя; несмотря, что князь, не пустили в гусары – только в Кирасирский. Но... отличился на Кавказе – и, глядь – адъютант наследника.

За всем следила. И всех нещадно ревновала к успехам – за него. А он не смел ей сказать, что Барятинские и Шуваловы – все же, – не Столыпина: шапка не та! У них больше возможностей, у них *род*! А он к тому ж – только правнук шотландского наемника...

Что делать? Для нее он не был Лермонтовым... тем самым: стихи на смерть Пушкина, «Бородино», «Песнь про купца Калашникова»... а теперь еще роман – уже второе издание и прочее, и прочее... Перед ней он только – внук-неудачник, за которого болеет бабушка.

– И зачем тебе было звать того француза, к себе на гауптвахту – с объяснениями? Без того все бы сошло! Говорили, государь был на твоей стороне, и сам великий князь тоже!..

– Все эти Дантесы и де-Баранты – сукины дети! – говорил он. – Только и отличие, что – французские сукины дети!.. Баран пожаловался своей матушке – со страху! А та наступала вашему Бенкендорфу.

– Он не мой! – и тут же схватилась. – Но он же к тебе хорошо относился, по-моему? Бенкендорф?.. Тебя и вернули в прошлый раз с его ходатайства!

– Да. Но теперь плохо относится!..

Она умолкала ненадолго.

– Но у вас, говорят, там было какое-то Бородино? Большое сражение!.. Ты участвовал?

– На Кавказе? Да, сражение – у речки Валерик. Сперва я был адъютантом генерала Галафеева – развозил его приказы наступающим. А потом принял отряд охотников от Дорохова. Его ранили!

– Тебя тоже могли ранить?

– А чем я лучше других? У меня два представления к наградам. Одно – даже к золотому оружию. Но Клейнмихель дал понять, что это еще ничего не значит.

– Тебя не могли ранить! Я бы этого не пережила! – Она помолчала. словно набираясь сил для нового наступления.

– Я пойду к Дубельту. Я ему все скажу. Подумаешь! Я паду в ноги к самому государю. Что они все с ума посходили? Такой уж страшный проступок совершил мой внук! Я пропадаю одна. У меня – единственный внук. Моя поддержка и опора.

– Я сожалею, родная! Вам лучше было иметь другого внука.

– Какого?

– Попроще!..

Дальше, уже к вечеру, после долгого и тяжелого разговора она вдруг спросила обыденно:

– Ну, ты спрашивал в журнале, как я наказывала тебе?

Он растерялся: – О чем?

– Чтоб они тебе платили? Раньше ты не брал денег за печатанье. – Из гордости, полагаю. И я не требовала. А теперь бы надо, ты нынче известный. Мне пишет староста – как не было урожая прошлым летом, так, скорей всего, и нынче не жди! Мне не вытянуть!

– Ладно. Попрошу.

– Я забыла... как называются эти деньги литераторам?

– Это называется «гонорар».

– Так вот, гонорар изволь брать у них! Мы с тобой не самые богатые. Да и всем же платят.

И Пушкин брал!

Он мог сказать ей, что его лично заботит судьба русских толстых журналов. Но, что делать? эта судьба не занимала ее!

Днем, часам к четырем, к ним заглянул Алексис. Вид у него был хмурый, даже мрачный.

– О-о! Еще один несчастный! – сказала бабушка, – впрочем, с любовью, и расцеловала по-родственному. Сын брата все же.

Она тоже знала про несчастную любовь племянника. Да и кто не знал!

– И кто там новый у нее? – спросил Лермонтов Монго без предисловий, когда они остались наедине. – Он имел в виду Александрин.

– Какой-то дипломат, приехал к Баранту. Или брат их министра.

– Французского? Я слышал о нем.

– А я еще не видел. Пойду-посмотрю. Ты собираешься на бал?

– К Воронцовым? Избавь! С меня довольно! В какое-нибудь тихое место. Где никого не смутит мой армейский вид! Я б ее бросил на твоём месте! – добавил он с жалостью, почти без перехода.

– Я бы тоже! Если б не боялся вместе бросить себя!..

Вечером того дня он все же улизнул от бабки к Карамзиным... отпросился чуть развлечься.

– И не связывайся там ни с кем! Слышишь? Умоляю тебя!..

– Да что вы! Не собираюсь. И с кем там можно вязаться? Это ж не бал!

– Ты и без бала найдешь с кем столкнуться! Спроси ненароком у Софи Карамзиной – будет ли она просить за тебя?.. Ты бы женился на ней. Не беда, что она старше. Она расположена к тебе. И у нее прямые связи. Императрица и Бобринская. Тебя бы сразу простили – как зятя Карамзина. Хоть его уже нет.

– И намекни ей, пожалуй, про Меншикова. Стоит попроситься к нему в адъютанты. Я наводила справки.

– А при чем тут Меншиков? Он адмирал. Ему нужен морской офицер.

– Но он еще – генерал-губернатор финляндский. А там ему нужны, как раз, сухопутные!

И как у нее укладывалось в голове это все? Ведь только что приехала!

IX

«Тихое место» у Карамзиных было полно народу. Он даже не со всеми знаком. С иными только кланяется. Но встретили его триумфатором. Он сразу нашел глазами Ростопчину и совсем уж был готов скрыться от всех подле нее. Но...

– Лермонтов! как славно! А вы почитаете стихи? – спросила хозяйка салона. Чуть жалобно.

– Естественно! Ну, куда он денется? «Мишель, вы прочтете нам стихи? – Миша, а ты будешь читать? – Лермонтов, а новые стихи?..» Будь все проклято! Он никому не нужен, нужны лишь его стихи. Не он сам, а то, что останется от него. Или может остаться или не остаться. Но он никому ничего не должен! Соллогуб привел жену. Решился все же? Или поправилась?.. Он поклонился обоим дружески – ему легким кивком, а ей почтительно и грустно.

Та самая Надин из повести «Большой свет». Она ему нравилась всерьез. Когда-то. Он должен притворяться, что он – Леонин. – Здравствуйте! Не позабыли про такого? Тот самый неудачник, которого отторгнул свет! А ваш свет, на самом деле, он – свет или тьма? А я вас помнил всегда. Но я привык, чем все кончается. Она выходит замуж за кого-то другого.

– А зачем они вам все? – спрашивал Гоголь в Москве, на своем дне рождения, год назад. – Они уединись в саду...

– Зачем? – приставал он. – Не пойму! Я вот только двоих и почитаю: Смирнову-Россети и Софи Соллогуб. Пред ними клонюсь, в них есть начало божественное. Софи я помню еще Виельгорской, вы тоже, верно, помните. Она была тогда такой миленькой девушкой. А какой у нее голос! Таких голосов вообще не бывает!

Но в жизни Софи была много лучше Надин из повести Соллогуба. И в ней, в самом деле – что-то ангельское. А голос? В самом деле, она говорила так, будто это все уже записано нотными знаками. Они с Гоголем согласились на том, что она, верно, «оттуда» – где небеса взирают на нас. А там уж нравимся мы им, не нравимся? А некоторым созданным людским, все-таки, верно, и небеса способны дивиться. – И что Соллогубу делать с ней? (Это уже Лермонтов думал сам.) Она слишком не от мира сего, он слишком практичен. Если б не хотел быть всем приятен, может, что-то бы и вышло у него как писателя. А так... Князь Щетинин из собственной повести! «Только, разве, если», как говорит Гоголь. (Он один говорит у нас так!) *Только разве если...* помнит про свою жену, что она дочка Виельгорского-старшего... и внучка Бирона – или правнучка? И что на их свадьбе гуляли сам государь и государыня с наследником. Милое семейство!

– Вы, наконец, почитаете стихи?.. Вы давно здесь не читали! – Напомнила Софи Карамзина.

– С удовольствием прочту!

И со зла (неизвестно на кого) прочел «Благодарность»...

За все, за все тебя благодарю я,
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей.
За жар души, растроченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...

Где-то в глубине гостиной, в стороне ото всех, сбоку сидела молодая женщина. Она старалась держаться отдельно. Это было заметно. Он был уверен, что видел ее где-то. Не помнил где. Только не был знаком.

– Ой, зачем вы так? – спросил голос женский. Очень искренне. И этот голос принадлежал незнакомке – не Надин. И голос тоже вызывал впечатления *гласа* – не отсюда.

– А еще? – попросил кто-то растерянно, и то была уже Надин.

– Ну, это давнее совсем, – и стал читать «Молитву».

... Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного...

Он же не виноват, что эта Надин (Софи) напоминает ему Варю Лопухину! «Молитва» была посвящена той. Ему захлопали. Он отвернулся и больше не глядел в ее сторону.

– Ой, Михаил Юрьевич, сказал голос Софи – Вы страшный человек!

– Почему страшный? – спросил он, улыбнувшись почти светской улыбкой.

– Что вы сделали со мной? Вы будто меня починили! Как наш старый настройщик, когда чинит отцовский рояль. Всегда кажется, что он знает, какой звук готова или хочет издать отдельная струна!

И, помолчав, добавила: – У нас так не пишут. И... не писали никогда!

Ей тоже захлопали. Голос, и впрямь, «заклучал в себе небесное беспокойство» (опять Гоголь). Может быть, может быть... и все ж... «Ей нужен князь Щетинин. А ты, Леонин, поезжай на Кавказ! Здесь тебе вовсе нечего делать!»

– Они не будут счастливы! – подумал Михаил и сам сказал себе, что это жестоко. Но так думалось...

Даже Соллогуб улыбнулся ему.

– Ты слишком разволновал мою жену! – сказал он. И тоном знатока: – Ты всегда чуть педалируешь, когда читаешь! Невольно украшаешь – стихи. Не боишься, что кому-то, кто просто читает глазами, они покажутся менее зрелыми? А так, ничего, разумеется. – И развел руками. – Все равно прекрасно!

Заметил нечаянно, что незнакомой женщины уже нет на месте – кресло опустело. Отсела куда-то или просто ушла.

– Ну... вы сегодня заслужили общее одобрение – даже молодой жены Соллогуба, что вам, кажется, безразлично. Или это прошло уже? – спросила Ростопчина, когда он к ней подсел. – У вас, мужчин, все быстро проходит. Она очень строга в оценках! – Он пожал плечами.

– Не говорите!.. поднимай выше! Я заслужил похвалу самого Соллогуба!

– Вы потом проводите меня?

– Вы уже собираетесь?

– Да, наверное...

Он хотел еще узнать про даму, что сидела в сторонке и после исчезла – но позабыл спросить...

Х

– Почему вы все-таки так поступили с Катись? – донимала она его историей с Сушковой.

– Обязательно отвечать? Я тогда только вышел из юнкерской школы и окунулся в свет. И бросался на впечатления и приключения, как безумный. Это было одно из них... Свет, в который я вступил в тот момент, был еще не высший, как вы понимаете, верно, а некий сред-

ний, промежуточный, скорей, коломенский... Я и поступал по принципам этого коломенского света.

– А в высшем, по-вашему, законы другие?

– Еще хуже, – сказал он мрачно.

– Вы сделали ей больно. Она сирота...

– Да знаю, знаю... Ее воспитывали родственники и мечтали быстрее выдать замуж. А Лопухин был подходящим женихом и женился б на ней. Я все испортил. Винюсь. Но... Сперва я просто заигрался. Она ведь когда-то мне очень нравилась, но почти смеялась надо мной. Неуклюжий мальчик с книгами. Когда вокруг такие ражие красавцы. И уже взрослые.

Но когда мы снова повстречались в Петербурге, я был уже не тот для нее... Я произвел впечатление. И... меня просто удивило: она ведь ждала жениха из Москвы, правда? И так легко перекинулась на меня...

– И вы мстили, как принято у мужчин...

– А чем я хуже? Нет, шучу! Я только удивлялся, поймите! Как Гамлет удивляется столь поспешному браку матери. Мне еще хотелось разгадать мир.

– А теперь не хочется?

– Не говорите! Он оказался так скучен! И все его ходы так понятны и неразумны... И сама природа его мелка!

– А вы еще отказываетесь, когда вам говорят вам, что вы – Печорин!

– Какой Печорин! Я только *автор* – «путешествующий и записывающий». А наше поколение оказалось хотя бы пригодным материалом для наблюдений.

– Ну вас! какой вы мрачный!.. Нельзя быть таким в компании красивой женщины, даже если она и не так нравится вам.

– Кто вам сказал, что не так?..

Они перебрасывались словами, и был в словах некий смысл – едва различимый и потусторонний. То есть, в стороне от того, о чем говорили.

– Бабушка приехала – небось, уже занимается вашими делами?..

– Она ими занимается, бог знает, сколько лет, с тех пор, как я, к ее сожалению, вырос! И что толку? Отпуск мой только начинается, но уже ощущение, что близится к концу.

– Вы не надеетесь остаться здесь?

– Бабушка надеется.

– А вы?

– М-м... после свидания с генералом Клейнмихелем почти нет. То есть, скорей всего, нет.

– Почему?

– Он намекнул, что мои представления к наградам и даже к золотому оружию ничего не стоят здесь. Начальство тут не ценит храбрость – но ценит послушание. Хотя... пока еще представления не рассмотрены на самом верху.

– Так, может, не так плохо? Он не захочет – государь – вновь отпустить под пули такого поэта!

– Ой-ли!.. Кто вам сказал, что не захочет? Да и зачем я ему здесь?

– Не верю! Помните, все же, как он обращался с Пушкиным.

– Да, но я не Пушкин.

– Но и про вас уже давно все поняли. Не надейтесь, что не так! да я это знаю из первых рук! Перовский недавно читал императрице и Бобринской вашего «Демона». Все в восторге. Кстати, я еще «Демона» не читала.

– Это всего лишь государыня! У нее доброе сердце. Но Пушкину не дали уехать в деревню, где он был бы счастлив. И где его супруга вряд ли встретила б Дантеса.

– Она вернулась, слышали?

– Нет. Разве? Пушкина задерживали здесь, чтоб жена его могла танцевать на аничковских балах.

– И все ж... Государь был взбешен, когда его убили.

– Не знаю. Его прежде убедил какой-то сановник, что при его царствовании нужен великий поэт. Может, Жуковский подсказал, он и поверил. А тут поэта убили. Конечно, обидно. Но потом все поняли, что без Пушкина как-то легче – тому же царствованию. Можно даже издать собрание сочинений. Конечно, не полное.

– Вы какой-то злой сегодня!.. Я беспокоюсь за вас!..

– Ничего. Я не каждому такое говорю. А через одного. – Помолчал и добавил...

– Что вас удивляет? Пушкин был трофеем, который наши либералисты легкомысленно бросили на Сенатском поле под выстрелами. А коль достался такой трофей – его ж надо использовать!

– А вы?

– А я не хочу быть трофеем!.. Или не умею!

– Пушкин умел по-вашему?

– Сами знаете – что умел!.. Это – не упрек!

Помолчали. Довольно долго, да и что говорить? Она явно была расстроена.

– Можно спросить? А кому посвящена ваша «Молитва»? Я знакома с той счастливицей?

– Хотите – скажу, что *вам*?..

XI

– «Почему вы пошли в гусары? Не могу понять все пять лет!»

– Что делать! Я и сам не могу понять!

Юность всегда отбрасывает странный ответ на жизнь. И заставляет бродить в непонятности самих себя.

Он рос и делался юношей среди целой стайки молодых и прекрасных девушек, в которых, почти во всех по очереди, был влюблен. Даже его тетка Анна Столыпина, двоюродная сестра матери, которая, правда, была младше его – удостоилась этой чести. (Она потом станет женой генерала Философова, и тот будет звать его племянником.)

Москва, Средниково... это были этапы его взросления и здесь звучали шаги его взросления. Едва ль не все окружающие девицы демонстрировали живой интерес к нему как поэту, переписывали стихи в тетрадки, в девичьи дневнички, тщательно хранимые от взгляда, от взрослых, некоторые старались заучивать его стихи или залучить их, его рукой писанные, в свой альбом и дарить их потом подругам в альбомы. («Кто любит более тебя – пусть пишет далее меня...») Но к нему как поклоннику они все до одной относились не всерьез и откровенно подсмеивались. Он взрывался. Барышни в этом возрасте раньше взрослеют и раньше начинают не только жить взрослой жизнью, но и становятся взрослыми. И вообще, женщины безжалостны.

Вот в эту злосчастную для нас, мужчин, а для него, может, тройне злосчастную пору – уж больно был самонадеян и вспыльчив – просто пожар! – Варя Лопухина, сестра его друга Алексиса, и вообще, соседка из ближней семьи Лопухиных, – росла как-то медленней сверстниц и долго в красавицах не числилась. Была скромна и задумчива не по летам. Не увлекалась танцами и не старалась кружить головы и без того вскруженные обилием возможностей. – У нее была родинка над бровью – левой, кажется... Ее поддразнивали подружки: «А у Вари родинка – Варенька уродинка!» – она не обижалась или делала вид. Она была непримечательна – или не слишком примечательна, не то, что другие. В ней скрылась какая-то тайна взросления. Потому что... Летом 1831-го года она вдруг, как в сказке, обернулась красавицей. И это насмешницам пришлось признать и согласиться с ее полной и окончательной победой. Вдруг, повторим, в два

месяца лета! Словно Господь долго работал над внешностью этой девушки, ища необходимые или позабытые черты... те, без которых не возникнет гармония души и тела. Но и Михаилу было семнадцать в тот момент, и у него был возраст любви... и он влюбился враз, поняв, как Ромео, что раньше не знал красоты... и отбросив разом всех прежних Розалинд. Но тут надо сказать... было странное обстоятельство. Он стал чувствовать себя мужчиной очень рано, чуть не в двенадцать лет. Он быстро вырослел. В четырнадцать он ощущал уже осознанное желание по отношению к любой из девиц. В кого был влюблен, конечно – а влюблялся он часто. А тут – стоп! Когда Варя перед ним словно возникла снова, он ощутил лишь укол петраркиевой страсти. Лаура, не боле. Что-то отдаленное. Страсть без желания. О ней было в пору писать «Стихи о прекрасной даме».

Но однажды в Средниково под Москвой, летом 32-го, он заглянул к ее брату Алексису, с которым дружил, все члены семьи куда-то подевались, кажется, поехали навещать какую-то тетку, и Варя почему-то была дома одна, – он не помнил, почему. Пригласила его пройти – не думая ни о чем, разумеется, да и он, конечно, не ждал ничего такого – от себя, от нее. Сперва они сидели тихо и степенно, как маленькие, и говорили о стороннем. Потом он придвинулся ближе, еще не предполагая...

И дальше был тот взрыв, тот единственный миг осознания чувства, который, будучи пропущен, уже не возвращается никогда. Он поцеловал ее, и она откликнулась сразу, как не бывает – ни в этом мире, ни в том обществе, в котором они выросли. Откликнулась на зов. И две души потянулись друг к другу и сразу выросли в объеме и опыте. «Наши скоро придут!.. – Нет, нет!..» Это не может кончиться, это не должно так кончиться! Он впредь будет знать всю жизнь, всегда, что таких губ на свете не встречал. Их не было... И вообще... Их просто не бывает! «Нет, милый мой – то жаворонок звонкий... – нет, то только соловей...»

– И я любил? Нет, отрекайся взор,
Я красоты не видел до сих пор...
– Поди узнай! И если он женат,
То мне могила будет брачным ложем!..

Так воздвигся вдруг веронский «балкон Джульетты» в Средниково, потом в Москве, на Малой Молчановке.

И это все длилось бы и длилось и, верно, не распалось никогда. Но тут он должен был уехать в Петербург. В университете Московском случилась «Маловская история».

«У нас пятнадцать профессоров – без Малова» – дразнились студенты. (Или, может, «двенадцать без Малова» – не помню.) Они решили избавиться от профессора Малова. Наверное, он, в самом деле, был плохой профессор. Они сорвали ему лекцию и, кажется, не одну. Лермонтов на курсе обычно держался в стороне, и, того хуже, с вызовом. Со студентом Виссарионом Белинским, к примеру, он и вовсе не кланялся, хотя оба были из одного Чембарского уезда под Пензой, и имели общих знакомых, – и тот считал его надменным барчуком и воображалой. Одному из сокурсников, который спросил, какую книгу он читает, он ответил, с вызовом: «Вас эта книга вряд ли способна заинтересовать!» – Никто ж не мог подозревать, что он уже сделался *Лермонтовым*, и только смотрится как студент-первокурсник. Но в истории с Маловым Лермонтов присоединился к остальным неожиданно для себя, и вдруг явился одним из самых активных, чуть не заводилой. Малова, в итоге, изгнали (странно, как хорошо кончилось – в николаевскую эпоху такие шутки уже не часто проходили). Но прочие профессора взяли за студентов в отместку и кое-кому резко снизили баллы. Лермонтова оставили в университете на второй год. Белинского исключили вовсе с формулировкой: «По слабости здоровья, и притом, по ограниченности способностей». (Признаться, и Лермонтов учился явно ниже возможностей: ему не нравились преподаватели, иногда он знал больше их, и было много дру-

гих забот – любовь, стихи.) Михаил решил попытать счастья в университете Петербургском, в уверенности, что ему зачтут предметы, сданные им в Московском.

Кроме того, был один эпизод. Глупость, даже случаем не назовешь! У нее, у Вари, был день рождения или именин, и собралось много молодежи. Он хотел, конечно, чтоб в этот вечер она отчетливо принадлежала ему и, не дай бог, не кокетничала ни с кем. Она так уж страшно не кокетничала. Но веселилась от души. И вокруг нее было много молодых людей, более заметных, чем он (ему казалось). А он сидел в стороне и злился, что она редко о нем вспоминает. Или, скажем прямо, почти не вспомнила. Пустяк, скажете? Пустяк. Но для любящего сердца... А еще прибавьте самолюбие, преувеличенное во стократ. И он все время представляет, как ее в танце касаются или обнимают другие. Затмение души... Но, когда барышне просто хочется танцевать – пиши пропало!

Отбыв в Петербург, он первое время писал ей письма. Она наверняка отвечала. Мы не знаем, к сожалению – ни ее писем, ни его. Они не сохранились. (Муж ей потом велел все сжечь. Она сожгла. – Наверное, из всех недостатков человеческих у нее был один явный: она была послушна. Письма сожгла, а рисунки и стихи отдала тайком их общей подруге и кузине Сашеньке Верещагиной).

Он также писал часто ее старшей сестре Марии – то была девушка сложной судьбы: у нее было что-то с позвоночником, может, небольшой горб, и замужество ей, кажется, не светило. Она жила жизнью близких. Может, и так можно жить.

В осеннем письме Марии в конца августа 32-го года из Петербурга он еще добавил в Postscriptum'e:

«Я очень хотел бы задать вам один вопрос, но перо отказывается его написать. Если угадываете, хорошо, я буду рад, если же нет, то значит, если б я даже задал этот вопрос, вы бы не сумели на него ответить. Этот вопрос такого рода, о котором вы, быть может, даже не догадываетесь...»

Мария ответила быстро: «Поверьте мне, я не потеряла способности угадывать ваши мысли, но что вы хотите, чтоб я вам сказала? Она здорова, по-видимому, довольно весела. Вообще ее жизнь такая однообразная, что даже нечего о ней сказать, сегодня, как вчера. Я думаю, вы не очень огорчитесь, узнав, что она ведет такой образ жизни, потому что он охраняет ее от всяких испытаний; но со своей стороны, я бы желала для нее больше разнообразия... что это за жизнь для молодой особы, слоняющейся из одной комнаты в другую?..»

В письме был очевидный упрек: «Как, после стольких усилий и трудов увидеть себя совершенно лишенным надежды воспользоваться их плодами? Если я не ошибаюсь, это решение должно было быть внушено вам Алексеем Стольпиным». Речь шла о выборе им нового жизненного пути. Военной карьеры. Ошибалась. Стольпиным – но не тем.

Но упрек шел ото всех его московских близких, это точно. От Вари в том числе.

В том письме, где он задавал вопрос, какой не решался сформулировать, было еще: «Вот, кстати, стихи, которые сочинил я вчера на берегу моря»...

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...
Что ищет он в стране далекой,
Что кинул он в краю родном.

Это приведено как бы между прочим. Он вовсе не представлял себе, что создал одно из лучших стихотворений русской лирики. Но в личном плане здесь первая из попыток объяснить себя Варе. И первая молитва, обращенная к ней, о прощении и о принятии его такого, как есть.

«... я сам не знаю, каким путем пойду – путем порока или глупости. Правда, оба пути приводят к одной и той же цели...»

Я счастливее, чем кто-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на улице. Вас коробит... но, увы! скажи, с кем ты водишься – и я скажу, кто ты!»

ХП

Когда мы забываем кого-то, мы обычно забываем сперва себя, какими мы были, или отказываемся от прежних себя. Его *того* больше не было. Был кто-то другой...

Вспыхнуло в последний раз в письме ее сестре почти молящее: «В настоящее время ваши письма мне нужнее, чем когда-либо. В моем теперешнем заключении они будут для меня высшим наслаждением. Только они смогут связать мое прошлое и мое будущее, которые уходят каждое в свою сторону, оставляя между собой преграду из двух тягостных и печальных лет...»

Конечно, это писалось не только Марии или не столько ей, сколько той, другой. Просто был удачный посредник... Но... Вспыхнуло и погасло.

«Преграда» оказалась, вопреки ожиданиям, если и «тягостной», то терпимо, и уж точно, не совсем «печальной». Просто она состояла из другой жизни, не той, что была прежде... И он ринулся в эту иную жизнь со всем отчаянием, но и со всей страстью. «И сердце бросил в море жизни шумной, – И мир не пощадил, и Бог не спас!..»

«Связать прошлое и будущее»? Но они разошлись! Будто огромная часть души откололась и заместилась другой, которая тоже была *его*, но он о ней прежде и не подозревал. Мальчик, воспитанный бабушкой, в строгих правилах, выросший в культурном кругу, был выброшен на скользкую и вибрирующую под ногами площадку манежа среди взмысленных коней, конской сбруи и грубых команд... и ему предстояло стать здесь своим. И он сделал все, чтоб это состоялось. Вари больше не было в его жизни не потому, что он забыл ее. Он просто позабыл того себя...

Однажды в манеже лошадь сбила его с ног и ударила копытом в колено. Он долго лежал в госпитале. И потом часто хромотал: болело под погоду... он смеялся над собой: «Хром, как Байрон!» Но мальчика с огромным томом под мышкой больше не было вовсе. Байрон вместе с Варей был далеко.

Когда он оказался в госпитале, бабушка попросила семью родственников – мужа и жену, навестить его. Они послушались и навестили. Он встретил их так холодно и отчужденно, что они не понимали потом – зачем пошли.

Аким Шан-Гирей, двоюродный брат, привез ему поклон от Вареньки, из Москвы...

«Мне было досадно, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней спрашивать; я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:

– Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!»

Красиво, правда?..

Народ, – сказал Лафа, рыгая,

Я покажу вам двери рая!..

Что за красавица лихая... – ну и так далее.

И показал, что вы думаете? – и показал!

То был Лафа, буян лихой,
С чьей молодецкой головой
Ни допель-кюмель, ни мадера,
И даже шумное *аи*
Ни разу сладить не могли.

Лафа был Поливанов – улан, а не гусар. Но заводила их гусарских подвигов.

Вот, чем он любовался теперь! Но, когда он несколько лет спустя встретил Лафу, то даже удивился. Это был уже никакой не Лафа, а улан Поливанов – вполне почтенный, даже женат.

Они потом все переменялись. Но тогда, в юнкерскую пору... что делать? Они были такими. Мальчишки, в основном, домашнего воспитания, оказавшиеся вдруг в среде, где все дозволено... Ну, не в казарме, разумеется, и не на плацу – тут они подчинялись ох, какой дисциплине... Но в похождениях свободного времени, когда вдруг вырываешься на чистый воздух... А Танюша, «клад», открытый Лафой... была не то, чтоб проститутка... что нет, то нет – но девица легкого поведения, это точно!

Они и ввалились к ней впятером или вшестером – с пылу, с жару, под выпивкой. И отодрали один за другим, за милую душу.

Сначала маленьких пошлем,
Пускай натешатся собаки.
А мы же, старые ...
Во всякий час свое возьмем.

Она не протестовала. Ну, разве только от усталости, под самый конец. А так... вопила, как положено. Но в криках всё звала какого-то Васю. А Васи я среди них точно не было. Ни одного.

И правда – «двери рая»! А потом...

Один Лафа ее узнал,
И дерзко тишину наруша,
С поднятой дланью он сказал:
«Мир праху твоему. Танюша!»

А может, так не было, и Михаил сам присочинил конец? Чтоб все вспоминали себя, бывших, и смеялись? Но на какой-то момент жизни... Ему стало легче с Лафой, с другими иже с ним в их безумных похождениях гусарских. Про которые вспоминать-то порой стыдно! Но... На его глазах происходило единение братства и, вместе, его атомизация: распад на судьбы, на страсти, на везение и невезение.

И, если признаться... куда легче было с этим собой, чем с тем мальчиком с томом Байрона под мышкой.

Поэма «Уланша»... а еще «Гошпиталь» и «Петергофский праздник» в том же жанре была из того, совсем немногого, что сочинил этот былой «мальчик» за два года юнкерской школы.

Гусарские шалости. Гусарские подвиги. Гусарская баллада.

Кстати, он сильно рисковал, разбрасывая повсюду эти стихи... давал читать кому попало, давал списать... Еще публиковал в рукописном журнале училища отрывки. Император Николай был строг по части нравственности. Полежаеву, куда меньшие прегрешения обошлись слишком дорого!

Но иные, постаревшие, гусары или уланы, будут после весьма удивлены, переписывая от руки стихи на смерть Пушкина. Другие даже в свой час станут рвать из рук юных дочерей «Героя нашего времени» – боясь за них: они ведь помнили (и шпарили наизусть, про себя) стихи другого Лермонтова!

Выйдя из этого рая, который временами походил на ад или ада, который бывал раем тоже, – он вовсе позабыл про Москву – даже не подумал ехать туда, выбравшись из юнкерской школы; он бросился в свет, он жаждал впечатлений и удовольствий. Об этой жажде он с аппетитом сообщал в письмах Мари Лопухиной и Александре Верещагиной. Несколько кокетничая собой новым и им неизвестным. Это были как бы доклады о самом себе, какого он теперь себе

представлял. Прежнее было как бы забыто. Так возник роман с Сушковой, который некоторым образом, был тоже расправой с прошлым. Она ведь помнила еще того самого – «не Байрона, а другого». Так вот – нате! Это я теперь – помните меня того?..

И все-таки... «...о, как же сильно я изменился; я не знаю, как это произошло, но каждый день дает новый оттенок моему характеру и моей манере рассуждать... – это должно было произойти, я знал, ...но не думал, что это произойдет так скоро!»

И в том же письме кузине Александре Верещагиной о Сушковой: «Итак, вы видите, что я хорошо отомстил за слезы, которые кокетство mlle S. заставило меня пролить 5 лет назад!.. Она заставила страдать сердце ребенка, а я только поучил самолюбие старой кокетки!» – неважное объяснение, конечно. Но главное, что это пишется той, которая знает обоих действующих лиц и в близких отношениях с третьим лицом – с Варей!

Вот все! И колокольчик прозвенел... Почти следом из Москвы пришло известие о предстоящем замужестве Вари. «Он вдруг изменился в лице и побледнел: “вот новость, прочти!” и вышел из комнаты.» Вышел, вошел – какая разница? Костер догорел. Остались угольки и ветер расшвыривает их.

Варя вышла замуж за г-на Бахметева, помещика тамбовского, много старше ее. Говорили, что встретила его на балу в Благородном собрании. Бежала вверх по лестнице, запыхавшись, опаздывая на бал, и случайно зацепилась шарфиком о какого-то незнакомого господина, много старше ее. Извинилась, разговорились. А жизнь так устроена: зацепишься и пропало! На заставах, в переездах, она будет именоваться теперь «штабс-капитаншей в отставке». Найдется повод написать «Тамбовскую казначейшу» – про то, как «тамбовский старый казначей» проигрывает улану в карты жену. Была такая старая московская история, случившаяся еще до рождения Михаила...

Когда он приехал в Москву в 35-м, в полном бешенстве от замужества Вари, хотя что можно было изменить, да и чего он ждал? – Варя, та самая, с родинкой над бровью, (которая почему-то ему в ней особенно нравилась) сказала ему без обиняков:

– Не понимаю! Какие упреки? Вы мне делали предложение, Мишель? Я что-то не помню. Мне сделал предложение солидный человек. Для барышни это серьезно. Особенно для той, у которой нет определенных планов. И мама настаивала. (Все же выступили слезы.) А что я могла противопоставить? Ваши письма к моей сестре?

Можно представить себе г-на Бахметева, который после этой встречи говорит жене:

– А я ждал увидеть вашего Лермонтова куда более симпатичным молодым человеком. А тут... мал ростом, кривоног и злые глаза! Вы замечали, надеюсь, что у него злые глаза?

– Ну... Если вы так считаете, Николая!..

Она была послушна – это был ее недостаток, возможно. Она умела подчиняться чужому мнению.

Из Тархан Михаил напишет другу Раевскому, с которым после в соавторстве попытается сочинять «Лиговскую»: «...пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мной в Москве. – О, Москва, Москва, столица наших предков, златоглавая столица России великой, малой, белой, черной, красной, всех цветов, – Москва преподло со мной поступила».

XIII

Дуэль Пушкина и его смерть, как жесткий аккорд разорвала всю наивность прежних мелодий. Прозвучал глас судьбы. Пошли другие ноты. Странно, но Лермонтов сразу примерил эту судьбу на себя. И продолжал примерять до самого конца. Можно сказать, что потом он даже тянулся к дуэли, не только как к разрешению каких-то противоречий, но чтоб снова увериться, что судьба и на сей раз обошла его.

«Смерть поэта» возникла не только как название стихотворения. Но как личная тема, как «смерть поэтов». Владимир Ленский и Андре Шенье были тут вместе и почти равновелики. Через год он напишет: «Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?..» И это снова будет про Пушкина. Покуда «осмеянные пророки» бродили по земле и ждали, когда их убьют. Мы плохо представляем себе, что створилось с Петербургом, с обществом, с Россией в те несчастные два дня, пока Пушкин умирал в квартире на Мойке 12. Все напоминало огромный театр, заполненный до отказа разными людьми. И при свете люстр на сцене умирает Пушкин.

Уже в первом, притом, сугубо официальном и оправдательном письме «Дела о непозволительных стихах» возникли сугубо личные вещи: «...дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от своей жены, потому что был ревнив, дурен собою, – они говорили так же, что Пушкин негодный человек и прочее...» Это была его личная тема. Замужество Вари Лопухиной нечаянно проговаривалось здесь.

Вообще-то Лермонтов лишь понаслышке знал пушкинскую историю, хотя и пострадал из-за нее. Одни только общие разговоры. Вскоре после события он был арестован, потом быстро спроважен на Кавказ... (Ну, а в свете еще месяца два или три таскали историю по всем гостиным, и она становилась легендой – но это было уже без него.) И он думал про себя, что, если б начать сначала, напиши он стихи, не стал бы их, пожалуй, распространять.

С Соллогубом Лермонтов знаком был и раньше, но ближе сошелся только по возвращении с Кавказа: в 38-м. Соллогуб входил в число друзей покойного. Тот пригласил его в секунданты еще при первой попытке их дуэли с Дантесом, в ноябре 36-го... Соллогуб был уверен, что тем самым курком, какой спустила судьба в дуэли Пушкина, было проклятое письмо – пасквиль, разосланный кем-то неизвестным пушкинским друзьям 4 ноября 1836-го...

«...Хотя вы были больше секундантом Дантеса, чем моим!» – изысканно поблагодарил его Пушкин, когда все уладилось временно, и дуэль в ноябре все ж не состоялась. – Соллогуб охотно рассказывал об этом, чуть насмешливо, да он, и вправду, не был ни в чем виноват. Старался вместе с Жуковским и другими отвлечь беду, вот всё – что плохого? Дантесу пришлось в итоге сделать предложение сестре Натальи Николаевны – Екатерине и тем утишить страсти. – За что, собственно, он мстил Пушкину – считал Соллогуб. Женитьба была вынужденной, кто простит?

Про пасквиль, посланный Пушкину в ноябре, Лермонтов, конечно, знал. То есть, слышал, не более. И когда писал «Смерть поэта» имел его в виду. Но Соллогуб приводил подробности. И что мог – не скрывал, тем более, от Лермонтова. После тех стихов Лермонтов считался как бы душеприказчиком Пушкина на земле, хотя никем не был определен на это место, да, главное, и сам себя не назначал. И временами это его раздражало. Но он пытался о чем-то расспрашивать Соллогуба, а тот отвечал довольно охотно...

– А ты-то сам читал?

– Конечно. Их было несколько экземпляров писем, присланных по городской почте. Одно из первых пришло Елизавете Михайловне Хитрово, другое мне. Почти все друзья Пушкина, я в том числе (подчеркнул), получили и, ничего не понимая, переслали адресату: то есть, Пушкину. Мы ничего не заподозрили... А уж потом он сам показал кое-кому: Жуковскому, мне...

– И что там было?

– Ничего. Противный текст. Донос или клевета. Открыто намекали на неверность Натальи Николаевны, – притом, двойную! «Капитул Ордена Рогоносцев» сообщал об избрании Пушкина «заместителем Великого магистра Ордена и историографом Ордена», а магистром именовался Д.Л. Нарышкин, муж, как тебе известно, самой знаменитой любовницы государя Александра I. Понимаешь?

Кого хотели задеть? А подписывал письмо, якобы – «непременный секретарь И. Борх». А про Борха известно, что он гомосексуалист. Сам Пушкин высказывался про него и его жену

весьма остроумно: «Вот, между прочим, счастливая семья! Жена живет с кучером, муж с форейтером». В этом был намек прямой – на Дантеса. Тогда лишь предполагалось, а теперь-то уж – не тайна, что Геккерны были не только семья: отец и приемный сын, но и любовники...

Он помедлил немного и стал развивать мысль в другом направлении.

– Только Пушкин напрасно полагал, что к присылке этой гадости имеют отношение Геккерны. Зачем им обнародовать свои грешки? Другое дело, что втайне – сам, возможно, так и не считал. Просто... по законам нашего гадкого света – в чем еще он мог их обвинить? Кто-то ухаживает за женой? А что особенного? Кто-то, не дай бог, спит, с его женой?.. Что, единственный случай? Если что и не могли Пушкину простить в свете, это то, что он сделал из всего общественный скандал. Сколько несчастных рогоносцев усомнились в его уме. «Мы же терпим?» – сказали. То-то! Мы живем в греховном мире! А пасквиль послали – тут уж обвинение. Вопросы чести!

Он помолчал еще, явно помрачнев: разные мысли, верно, лезли в голову. И добавил еще: – Вот сама ситуация, признаем, оскорбительна. И была, как бы, особой внутренней пружиной всего. Мало, что жена явно заглядывалась на другого мужчину... даже без близости, он полагал, – впрочем, не был уверен, я тоже не уверен, если честно – так ее избранник – пидор! Вообще неумогу!

– Ты ж его знал – Дантеса, по-моему? – спросил он Лермонтова.

– Видел раз или два у Трубецких. Он на меня произвел отвратное впечатление – как почти все французы. Держится так, будто, они победили в 12 году! Рассказывает с упоением, как они бросили в театре гондон на сцену – актрисе, которая им почему-то перестала нравиться. Или другое что-то перестала? Это все, что он вынес из спектакля на театре? Не знаю. Пустая фигура. Но это нынче, как раз, ценится, по-моему!

– Гусары, молчать!

Но гусары все одно:

– Не понимаю: так она дала ему или нет? Дантесу?..

– Молчать, гусары! – Лафа пытался, как мог, сдержать расходившихся приятелей. Все бы ничего, если б Пушкин не умирал всего за одну речку отсюда.

Спор шел вторые сутки на квартире у бабушки Елизаветы Алексеевны на Садовой. Благо только, комнаты ее в отдалении, и она не слышала. Или старалась не слышать. Если б она знала, чем всё кончится – разогнала бы всех. Сам Михаил был дома по болезни: расходилась нога, ушибленная некогда в манеже, к тому ж он был сильно простужен. Его навещал врач...

– Не пойму! Он все-таки пидор – Дантес?

– Пожилой господин усыновляет великовозрастного детину и при живом отце. Дает свою фамилию...

– Деньги, брат!..

– А если пидор, чего он лезет к нашим бабам?

У Лермонтова со Столыпиным часто так собирались, особенно если кто-то болел... И в Царском, на углу Большой и Манежной улиц, и здесь, на Садовой, в квартире бабушки. (Великий князь Михаил даже обратил на это свое высокое внимание!) А тут и повод был особый. И просто столпотворение.

– Не понимаю. У нее ж четверо детей! – это снова о жене Пушкина.

– Я, лично, не верю в этих танцующих женщин!

– Женишься – твоя тоже захочет танцевать!

– Моя не захочет! Я не женюсь!..

– Кто скажет? А Пушкин – это, правда, интересно? Стоит читать? – пробился чей-то голос.

Михаил мало брал участия в разговоре. Входил в гостиную, выходил. У него были свои мысли по этому поводу. От чего-то морщился. Но для гусаров нет гениев!

Но... Тут была не единственная квартира в городе, где шел такой спор в те дни. Никто не понял еще, что случилось с обществом, и не только с Петербургом – со всей Россией. Что-то она теряла, Россия – сама не знала, что, но бывшее ее достоянием, кроме огромности ея и пушек ея... Без чего она раньше спокойно, вроде, могла обойтись.

А бросились к нему, к Михаилу, не к кому другому – вдруг вспомнив, что он тоже пишет стихи... Хоть, впрочем, раньше это не все приятели одобряли.

– Говорят, кавалергарды все за Дантеса! – сказал кто-то в удивлении.

– Так он же их полку!..

– А кавалергарды – они все бугры! Не так?

– Врут! И не все за Дантеса. И не все бугры!..

– Что они сумасшедшие – кавалергарды?

И впрямь, в те дни даже полки разделились по-своему. Кавалергарды в основном, за Дантеса. Гусары и уланы – за Пушкина. Конный полк – и туда, и сюда.

– Вы мне не ответили... Пушкин – правда, интересно? Стоит читать?..

Михаил временами покидал гостей: «У меня врач!» – Те, если и слышали его, то, разумеется, не знали, кто именно... Какое им дело?

А врач был известный доктор Арендт. Он приходил прямо от Пушкина. – Это уже недолго! – сказал он вечером 28 января... Всего несколько часов. – Он и раньше говорил, что нет никакой надежды.

Лермонтов почему-то спросил про жену Пушкина, как она?

Д-р Арендт улыбнулся застенчивой, стариковской улыбкой:

– Ой, не знаю, что сказать, мой дорогой! Она, по-моему, не понимает – что происходит. – Чуть примолк. – И что произошло – не понимает тоже!

Когда через час-полтора, уже ввечеру, пришел к нему Слава Раевский, единственный, кажется, тогда самый близкий из невоенных друзей – Михаил прочел ему стихи... Те самые. «Смерть поэта».

Слава одобрил горячо...

Они вышли к другим гостям и прочли так же им.

– Ты смотри! Как бы тебе не вlepили! – сказал Лафа-Поливанов, доставая с тарелки посреди стола последний кусок пирога. Лафа был известен мудростью и пониманием практической жизни.

А другие за столом уже кинулись переписывать. Так это всё началось: его слава – и его поражение тоже.

Нет, первая часть стихотворения не принесла никаких неприятностей автору. Она разошлась по городу и ее многие хвалили. Дошли даже удивившие автора слухи о приятии без особых претензий его опуса в III отделении собственной его величества канцелярии. (Мордвинов, зав. канцелярией, сказал кому-то.) Но дальше... Неохота вдаваться в подробности, настолько растиражировано это событие среди тех, кого интересуется оно. Все знают, что пришел некто, сказал нечто, и автор написал еще Прибавление в 16 строк.

Было это через несколько дней. Лермонтов был по-прежнему болен, и в доме собралась примерно та же компания. Пушкина уже схоронили. То есть схоронили или нет неизвестно, только знали, что гроб увезли на Псковщину, и что вдова за гробом не поехала.

– Похороны прошли успешно! – возгласил Лафа, забирая со стола очередной кусок пирога с рисом и с яйцом.

– В каком смысле, успешно?

– Схоронили так, чтоб забыть быстрее!..

И тут появился тот самый Некто, который был вообще вполне приличный малый, родной старший брат Монго Николай, он, в отличие от других, собравшихся за столом – был статский, «архивный юноша»... Выходил по карьерной лестнице в дипломатии и был близок к дому Нессельроде и к салону Нессельродихи, и, естественно, был сторонником тамошних взглядов на мир. А что он мог почерпнуть там? Как молодой сотрудник ведомства он хотел конечно, думать в унисон с начальством.

Так как при нем продолжили говорить о Пушкине и Дантесе, и о суде над Дантесом, он поторопился поделиться тем, что успел усвоить, и, как всякий неопит, стал настойчиво проводить мысли, слышанные им... Он сказал, что Геккерн и Дантес как иностранцы не обязаны вовсе думать о том, что для нас Пушкин. И поскольку они еще *знатные* иностранцы, не обязаны следовать нашим законам. – Вот и все, больше ничего. И вообще он пришел навестить больного брата (кузена) – то есть Мишу, и вовсе не собирался вести этот спор.

Но Лермонтов вспыхнул, как он умел вспыхивать. Взбесился, и чуть не выгнал гостя из дому. И, может, выгнал бы, если бы это не был старший брат Монго.

И когда несчастный Николай Столыпин ушел – он, вправду был расстроен ужасно, – Михаил написал еще несколько стихов того самого «Прибавления» к своим стихам о Пушкине: всего 16 строк.

А Слава Раевский стал их первым переписывать. И другие за столом быстро присоединились.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов.
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи...

Знаменитое «прибавление», появившееся несколько дней спустя после основного текста оды.

«Потомок – обломок», «потомки – обломки»... Пушкинская рифма. Автор сразу привлек к делу «Мою родословную» Пушкина, и перед читателем они предстают как бы обе вместе.

Он имел в виду, конечно, всех. И авторов пасквиля, приведшего к трагической гибели кумира, и всех тех, кто таскал теперь по гостиным чужую историю, ничего не понимая в ней. И, главное, не ощущая ее трагичности. Но он так же бросал обвинение в лицо своим прямым родственникам Столыпиным-старшим. Тем, кто когда-то не принял в свой круг и отверг его родного отца.

Так лошадь рвет постромки и устремляется вдаль – уже свободная от оков и куда неизвестно.

– Король умер! – Да здравствует король!
Поэт умирает. – Поэт рождается.

XIV

«Мишенька по молодости и ветрености написал стихи на смерть Пушкина и в конце написал на счет придворных, я не извиняю его, но не менее или еще и более страдаю, что он виновен...» – взывала бабушка Лермонтова. Указанное письмо летело аж во Франкфурт-на-Майне, к Философову: он был флигель-адъютантом великого князя Михаила и мог чем-то помочь.

Все остальное походило на сон, перемешанный с явью: то одно, то другое...

Ему сообщили, что в Царском Селе, на тамошней его квартире обыск. Квартиру нашли нетопленной и не слишком прибранной, и непонятно было, почему корнет Гусарского полка обретается так долго в городе, а не на службе!

Он помчался в Царское. Как человек чести он бросил в портфель с собой чуть не все свои рукописи, в том числе. «барковщину» (он ничего не скрывает!). Но именно на эти творения гусарского гения никто не бросил взгляда. Искали политические стихи, а их, как раз, не нашлось.

В отличие от Пушкина, Лермонтов не писал политических стихов. Или почти не писал. Возможно, это вызвало даже некоторое удивление власти.

«Приятные стихи, нечего сказать. Я послал Веймарна осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».

Этой записки своего государя Лермонтов, конечно, не видел. Однако, генерал Веймарн при встрече упрекнул корнета: «Заниматься надо службой, а не этой чепухой!» Но пока оставил на свободе.

«Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни – приверженцы нашего лучшего поэта – рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он был преследуем... Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина...» (Объяснение Лермонтова по «Делу о непозволительных стихах».)

В своем «объяснении» он, на всякий случай, добавил:

«... Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое – утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушную руку помощи несчастной жене и малым сиротам его...» (Для начинающего диссидента – право, неплохо! Он уверяет, что написал стихи как бы вдохновленный решениями государевыми!)

Его арестовали 17 февраля. Три дня шли «допросы от государя». Вел их лично граф Клейнмихель с Бобылевым, аудитором военного суда. И все три дня по вопросам, какие ему задавали, пахло солдатчиной, не иначе.

– Или?.. Объявят сумасшедшим? Как Чаадаева? Послали старшего врача гвардейского корпуса!

Требовали, чтоб он назвал распространителя стихов. Он отказывался.

«Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет, и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку и не смог... Я тебя принес в жертву ей. Что во мне происходило в эту минуту не могу сказать...» Он не знал, что Слава Раевский арестован уже. Во всяком случае, допрошен.

Его поместили в комнате на последнем этаже Главного штаба. Он писал стихи, а что делать еще? Он, кстати, сочинил «Молитву» – для Вареньки Лопухиной. О ней и за нее. Это должно ему зачесть в ином мире. Такие стихи? Любимой, что вышла замуж за другого? И в дни допросов и страха перед судьбой?

На четвертый день к нему вдруг заглянул Дубельт. Начальник штаба корпуса жандармов. Он был сер, как всегда – такое серое лицо. Вежлив и насуплен. Будто он недоволен собой или тем, что нужно делать.

– Нет, сидите-сидите! Мы же все-таки, родственники! И я на минутку! – Спросил учтиво, по имени:

– Вы не станете возражать, Михаил, если я скажу графу... Бенкендорфу (помедлил), что ваши друзья, которые видели ваши стихи, в большинстве своем читали только первую часть? Без прибавления?

– Разумеется! – согласился тотчас Лермонтов, просветлившись невольно. – Да это так и было!

Дубельт помолчал, взгляд его был не пристальный, чуточку отстраненный. И, может, усмешка в одном из глаз...

Он сам сидел в этих комнатах несколько недель под допросами по делу *декабря*... 1826-й... «Арестован Дубельт – один из говорунов Второй армии...» – сообщал кто-то в письме в те дни. (Кажется, радуясь.) Некто Унишевский, отставной майор, подал донос о причастности Дубельта к тайным сходбищам в Киеве. Обещался еще «в очной ставке обличить его и всех сообщников». (Подлец! Не удалось ему! не удалось!)

«Дубельт – лицо оригинальное, – в свой час скажет Герцен. – ... он, наверное, умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу – ясно свидетельствовали, как много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, или лучше, накрыл все, что там было».

Кстати, именно Дубельту поручен государем посмертный просмотр Пушкинских бумаг (правда, вместе с Жуковским) и многое говорит за то, что этот просмотр со стороны жандармской был достаточно щадящим.

Но пока Дубельт смотрит на Лермонтова, которому 22 года.

– Вот и хорошо! А теперь – еще вопрос... К кому вы обращались в этих словах? Кто ваш адресат? ваши «Надменные потомки»?

– Так это проще простого! не знаю, слышали ли вы... Незадолго до этой несчастной дуэли Пушкин получил письмо. То есть его друзьям был разослан пасквиль, что-то в этом роде. Он и послужил причиной всех бед. Я имел в виду, прежде всего, авторов пасквиля!

– А-а... – протянул Дубельт. – Я почему-то так и думал... Это была плохая бумага. Да! Подлая бумага. Я с вами согласен. Вы не возражаете... м-м... (он всегда немножко медлил), если этот ваш ответ я передам графу Бенкендорфу? Чтобы он сообщил его лично государю?

– Ладно! Отдыхайте! С вашим другом тоже все будет хорошо – я думаю!

И на следующий день сменился сам тон допросов. Вдруг стали вспоминать о поощрениях, какие он получал по полку. Сам аудитор Бобылев стал перечислять.

Через день его ознакомили с решением государя: «В Нижегородский драгунский, тем же чином.» Полк считался привилегированным. Лермонтова даже отпускали домой проститься!

Прекрасно! Он стал уже заранее грезить о Кавказе... Штаб полка вообще находится в Тифлисе. И туда можно попасть! 22 года! Тифлис! И ничего еще не страшно!..

Раевского переводили по службе в Олонецкую губернию... – может, нам дадут обняться на прощанье?

Объяснение такой перемене было дать трудно... Государь, кстати, потом послал Дубельта к бабушке Елизавете Алексеевне сказать ей, что он «ничего не имеет против Лермонтова» и «не забудет его».

А в те дни сам Михаил писал Раевскому:

«... Ты не можешь вообразить, как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь... Что Краевский на меня пеняет, что и ты пострадал за меня? – Мне кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то, право, меня бы огорчило... Прощай, мой друг! я буду тебе писать про страну чудес – восток. Меня утешают слова Наполеона: *Les grands noms se fonta il'Orient*. Видишь, все глупости. Прощай, твой навсегда. М. Лерма»⁵

Вина эта мучила его долго. Может, всю жизнь. Он понял: есть вещи пред которыми мы, люди, бессильны. А тогда... что такое наша сила?

⁵ Великие имена возникают на Востоке.

Меж тем, некоторые из знакомых и даже приятелей его писали в те же дни Дантесу-Геккерену на гауптвахту:

«Мне чего-то недостает с тех пор, как я не видел вас, мой дорогой Геккерн; поверьте, что я не по своей воле прекратил мои посещения, которые приносили мне столько удовольствия и всегда казались мне слишком краткими; но я должен был прекратить их вследствие строгости караульных офицеров... я еще два раза просил разрешения видетсья с вами, но мне было отказано. Тем не менее верьте по-прежнему моей самой искренней дружбе и тому сочувствию, с которым относится к вам вся наша семья. Ваш преданный друг *Бяратинский*.»

Это – будущий российский фельдмаршал – ему, в свой час, сдастся Шамиль. На тот момент близкий друг наследника престола. – Если не ближайший.

Так что потомки оставались «надменными»...

Воистину смерть Пушкина разделила общество на две, впрочем, неравные части, – но и это разделение и их неравность несомненно скажутся еще в русской истории.

Уже на Кавказе, в Грузии Михаил пожаловался своему новому другу, который оказался по случаю в одном с ним полку – Александру Одоевскому, тоже, как Лихарев, человеку Сенатской площади, да еще одному из активных деятелей ея... Рассказал о своем падении на допросе у Клейнмихеля, как он вынужден был назвать имя друга...

Одоевский был очень мягкий человек, все так и рисуют его – человеком редкостно добрым, теплым... Но, когда Лермонтов поведал ему свои мучения, он чуть ли не посмеялся над ним...

– Ты сошел с ума! человеку не дано знать, каким он будет в разом изменившихся обстоятельствах. Каким он может стать. Я был не самым отчаянным из мятежников, но, вероятно, самым громким. Я кричал перед восстанием чуть не громче всех: «Мы умрем! Ах, как славно мы умрем!»

Я прекрасно знал, что мы идем к поражению, и даже радовался тому: это было необыкновенное переживание! Даже, понимая, что победа если и будет когда-нибудь, то не наша, не с нами, не при нас! И что? Когда я очутился пред судейским столом, я вдруг перестал узнавать себя. Все во мне изменилось, я не знал, что говорить и лепетал всякую чушь. А когда мой командир полка Орлов стал пенять мне: – Зачем же ты, то да се... Одоевский – ведь я считал тебя хорошим офицером, ты подавал такие надежды!.. – я понял, что мне хочется их и впредь подавать. Что я хочу вернуться к себе прежнему. Что, может, не все потеряно.

«Мы умрем, ах, как славно мы умрем!» – и правда, я был готов! И умер бы, наверное, спокойно на площади. Но когда Господь велел мне жить – мне захотелось именно жить. И те, кто сидел за столом предо мной, кто допрашивал меня, кто были мне врагами или хотя бы противниками, – не показались мне вовсе такими уж плохими людьми. Я искал в них доброты и понимания. Я хотел понравиться им. Среди наших очень мало кто выдержал этот искуc. Даже Сергей Муравьев и Пестель не выдержали. Только старик Лунин... Ну, он был старше многих из нас, ему уж было лет сорок или под сорок, возможно, ему меньше, чем мне, хотелось жить в тот момент. Нас впускали по пятеро в помещение Обер-комендантского дома, где нам читали приговор – так вот Лунин, выйдя из дома после объявления приговора сказал: «Хороший приговор, господа! Надо бы это окропить!» – и помочился на дверь дома. А все выходили понурые и несчастные. И, только оказавшись в Читинском остроге, я снова сделался собой. Я тоже готов был помочиться на все это. Я уже больше не ждал снисхождения и не рассчитывал на этих людей, что сидели предо мной за столом следователей... Я сызнова верил в то, за что вышел на площадь и готов был славно умереть.

В завершение, он прочел Михаилу свои стихи, написанные в ответ на послание Пушкина к осужденным по декабрьскому делу: «Во глубине сибирских руд – Храните гордое терпенье...»

Струн вещей пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями...

Только не верь ты и этим стихам! Сам Пушкин почти одновременно с посланием к нам, закатил такие Стансы государю... Да и я, грешный, после своего опуса, просил власти о милосердии и отправке рядовым на Кавказ... И радовался, что смилостивились. Пошли навстречу. Обогрели... А когда еще по дороге сюда, мне разрешили на два часа встречу с родным отцом – плакал от счастья.

Потом, когда уже Михаила простили, и он, в Петербурге, узнал о смерти Одоевского от малярии, где-то в походе, в захоlustье, – то ли Псезуане, то ли Псезуапе, на Черноморской линии, он вспоминал слова Одоевского о жизни и смерти...

Но он погиб далеко от друзей,
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей...

Он написал стихи его памяти и даже опубликовал их, конечно, не выставив полного имени друга... По своему обыкновению, вытащил какие-то строки из старой поэмы «Сашка» – будто они тогда, давно, еще до знакомства с Сашей Одоевским, предназначались для него. Он часто писал так. Не слишком твердо зная, где использует какие-то строки и кому они будут предназначены.

XV

Все эти воспоминания кончились плохо: будучи в гостях у Евдокии Ростопчиной, – а он стал приходить к ней или за ней, чтоб вместе идти куда-то, часто – и не только вечером, но и поздним утром, – так вот, будучи в гостях у нее поутру, он поцеловал хозяйку прямо в губы. Несколько неожиданно – не только для нее, но, кажется, и для себя.

– Вы с ума сошли! – сказала она в удивлении, более, чем в гневе. – Хотя бы попросили разрешения!

– Но вы могли бы и не разрешить!

– Это правда! – согласилась она.

– Притом... Сколько можно тянуть? Я скоро уеду и поминай, как звали!..

– Вы что? Все же собираетесь уезжать?..

– Это зависит не от меня!

Она мигом переключилась на другое. С мужчинами в жизни она целовалась нередко – уж так сложилось у нее, а отъезд Лермонтова – это было всерьез.

– Я просила Бобринскую вмешаться, – сказала она. – Бобринская взяла на себя императрицу. Но *он* ее мало слушает! Верней... слушает, только, когда хочет слышать.

Он достал пахитоску. – Можно закурить?

– Курите. Конечно! как всегда. И дайте мне тоже!

– А вы разве курите?

– Скажите спасибо, что не пью. Курить я научилась в Париже. Там многие женщины курят. Впрочем, в Англии тоже. Там у дам такие длинные-предлинные мундштуки.

Они сидели и курили молча. Она – почти не затягиваясь.

Потом отложила пахитоску в изящную дамскую пепельницу. Ему была подставлена пепельница побольше.

– Вот, все! – сказала она. – Больше не буду. Слава Богу, накурилась, и меня никто не захочет целовать.

– Почему вы так считаете? – он отбросил свою пахитоску и начал целовать женщину без перерыва – жадно, мрачно и в разнообразии оттенков, как целуют бедные безумцы, которым чудится, что это в последний раз.

– Вы сошли с ума! – сказала она, и стала тоже целовать его – не столь интенсивно и с перерывами, словно, отвлекаясь, в оглядке на свою работу.

– Ну вас к черту! – сказала она. – Я боюсь за вас, потому и целую! Только учтите, дальше я не готова!..

– Кто вам сказал, что готов я? Впрочем... вас надо было наказать любовью, как следует – да ладно, пощажу!..

– Только знайте, что это ничего еще не значит!..

– Да понял, понял!..

– А где ваш «Демон», кстати? Я так и не видела его! Перовский читает его во дворце, а мне нельзя? Теперь, мне думается, я имею право!..

– Наверное. Только... У меня нет сейчас – ни одного экземпляра. А зачем он вам? Я пишу теперь нового демона – уже не кавказского!

С этим они отправились на Гагаринскую к Карамзиным.

Там было совсем много народу. И Валуевы, и Вяземский и Блудов с женой и дочерью, и Соллогуб с женой. Даже Корф, которого Лермонтов прежде не видел здесь. Что Корф, в отличие от Вяземского, допустим, принадлежал к поклонникам его – он знал. Корф сам подошел к нему.

– Надолго к нам?

– Всего пока два месяца. Отпуск. Но несколько дней уже пронеслись. Время быстро проносится!

– Правда. Надо б сделать все, чтоб вы задержались здесь. А как? Мне не приходит в голову. Я говорил с Бобринской... Кроме того, скоро день рождения наследника... Может, в связи с ним...

Всем лезло в голову одно и то же. Бобринская. Стало быть, через императрицу. Наследник или день рождения наследника... Все демонстрируют свое бессилие.

– А может, Дубельт? – спросил Корф. – Он, вроде, ваш родственник.

Сейчас назовет Философова – тоже родственник. Хороший человек, но в этом деле – слабая фигура!..

– Или генерал Философов? Он теперь в чести.

И вдруг заговорил совсем по-другому, как, вроде, нельзя было ожидать от него, одного из самых близких к государю чиновников...

– Кто-то очень не хочет, чтоб вы остались здесь. А кто – понять не могу! И, главное, почему?.. может, граф Бенкендорф?.. – и после паузы, добавил: – От Клейнмихеля, во всяком случае, ничего не зависит. Он только исполнитель!

Разговор прервался.

Вот вам и Корф! Соученик Пушкина. Как разбелось их поколение! Одни *туда*, как Кюхельбекер... и Пушкин, разумеется, – а другие сюда. Корф еще чувствует, пожалуй, что он

к чему-то был причастен. «Минувших дней событий роковых – Волна следы смывала роковые...» Наше поколение уже тоже разбредается. Вольницы не стало.

Лица мелькали. Они были разные. Он остановился взглядом на Софии Виельгорской – теперь Соллогуб, разумеется (равно, как Варя Бахметева!) – и смотрел долго. Вспоминал, что о ней говорил Гоголь. Вот, вроде, светских дам совсем чуждается, а эту читит!

Софи потом спросила, когда они оказались рядом:

– Что вы так смотрели? Случилось что-нибудь?

– К счастью, нет. Просто смотрел. Любовался, наверное. Это можно?..

– Вы всегда спросите так, чтоб вам невозможно было ответить.

– Не бойтесь моего взгляда. Он не причастен ни к чему дурному.

И отправился бродить по гостиной.

– Вы не прочтете нам что-нибудь? – спросила Софья Карамзина почти жалобным тоном. Она была, напомним, много старше и, вероятно, любила его.

– Сегодня можно – нет?..

Он пошел еще бродить по гостиной, наблюдая краем глаза, как Додо Ростопчина оживленна в беседе с кем-то из поклонников. Кокетка!

– Сейчас уйду незаметно. – Но нечаянно оказался у фортепиано...

Поднял крышку и стал играть. Он давно не играл, и пальцы отвыкли. Он сперва даже сфальшивил. Но потом... выдал вторую часть «Патетической сонаты» Бетховена. И выдал лихо, прямо скажем. Он не заметил, как пальцы сами размялись. И многие гости окружили его.

– Лермонтов играет! – не все знали это про него.

Он сыграл, кажется, не до конца Вторую часть сонаты, оборвал и под рукой легко побежал нежный вальс.

– Что это? – спросили сразу несколько голосов, и Ростопчина прервала разговор с поклонником и спросила тоже.

– Как? Вы не знаете? Это – вальс Грибоедова. Правда-правда! Автора «Горя от ума». Он был блестящий музыкант, между прочим!..

– А где вы взяли вальс?

– У вдовы. У Нины Александровны.

– Вы с ней знакомы?

– Конечно, когда был в Тифлисе в 1837-м... там же стоял Нижегородский драгунский. Да и Нина Александровна мне почти родня. Ее воспитывала моя тетушка генеральша Ахвердова.

– Как? она все еще не вышла замуж?

– Нет. – Он рассмеялся откровенно. – Где ей! Она грузинка! И она умеет жить прошедшим. В отличие от наших прекрасных дам!..

Все-таки они вышли вместе с Ростопчиной.

Она стала еще спрашивать про Нину Грибоедову.

Он сказал: – Она красива – по грузинским понятиям, очень. И претендентов хоть отбавляй. Но, видите ли... Она умеет дорожить той любовью, какая уже выпала на ее долю.

– Так вот, что вам нужно, оказывается! – сказала она не слишком дружелюбно.

– Нет-нет! Мне, лично, ничего не нужно!..

С Варей они встретились еще только однажды. Когда она ехала с мужем за границу. Был 38 год. В мире он был уже известен как *Лермонтов*. Имя. И существовала уже незаконченная «Княгиня Лиговская», в которой впервые является Печорин, и подвигался уже «Герой нашего времени». Мы могли бы, конечно, вполне придумать, то есть представить себе их разговор... Но лучше сделать это ему самому:

«Княгиня, – сказал Жорж... – извините. Я еще не поздравил вас с княжеским титулом!» (Жорж – это Печорин, только более ранний. Из «Княгини Лиговской».)

– ...но когда взошел сюда... то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что, признаюсь, забыл долг вежливости!

– Я постарела. Не правда ли? – отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу. (Головка к плечу – был любимый жест Вари!)

– Ой, вы шутите! Разве в счастья стареют? Напротив, вы пополнели, вы... Весь свет восхищается любезностью, умом и талантами вашего супруга!

– Я вам отплачу комплиментом на комплимент, monsieur Печорин... вы также переменялись к лучшему!»

В 38-м, все, кто видел Варю в краткий ее проезд с мужем через Петербург, почти единодушно отмечали, что она изменилась к худшему:

«Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце... Бледная, худая... И только глаза сохранили свой блеск!..» – вспоминал А. Шан-Гирей. Правда, она только что потеряла ребенка! (Михаил долго еще утешал себя этим ее несчастливым видом, и считал его следствием иных причин.)

Единственная рыбка счастья мелькнула и скрылась в безрыбье воде. С тех пор, как Варя вышла замуж, он мало верил женщинам вообще. Почти не верил. Судьба красавца Алексиса Столыпина и его вечные муки с резвухой Александриной Воронцовой-Дашковой служили подтверждением тому. Ну, он сам-то – некрасивый, кривоногий, злоязычный – да еще поэт. А Алексис за что так?..

Часть вторая Высший свет

I

«Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц – белокурая графиня Мусина-Пушкина – рано погибшее, действительно прелестное создание. На нем был мундир лейб-гвардии Гусарского полка, он не снял ни сабли, ни перчаток... Она чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Шувалову, тоже гусару. Граф Шувалов и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго. Лермонтов тоже засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих». – Иван Тургенев, тогда совсем молодой, и «отнюдь не завсегда светских раутов», как он говорит о себе, – отметил «в наружности Лермонтова... что-то злое и трагическое, какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижных темных глаз».

Мы имеем, наконец, профессиональное описание внешности героя. Фактически ни одного другого, столь точного и подробного, и не правленого уже поздней славой поэта или нелюбовью к нему – у нас нет...

Тургенев решил, что «внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко», и «задышался в тесной сфере, куда его толкнула судьба».

У Пруста писатель стоит в светской толпе. Его спрашивают: «Что вы делаете здесь?» Он отводит лорнет от глаз и отвечает: «Набьюдаю!»

Лермонтов наблюдал мир как бы со стороны. Великосветский русский мир... Он не просто вброшен был в него – чуждый ему – но он купался в нем. Он изучал его прилежно, как старинную книгу. Он находил в нем источник сюжетов, какие вряд ли встретишь в современных иностранных романах. И нередко не мог скрыть никак, что это, видимое им, сердечно огорчает его... на этом возникало часто его раздражение. – Одна из причин, приведших его к гибели.

Мы видим в нем раннего предшественника Пруста. Его герои не олицетворяют собой каких-либо идей, как свойственно героям Достоевского или Толстого. В них есть только характер и поведение: «история души человеческой, даже самой мелкой души...» Он с явным удивлением взирает, к примеру, даже на симпатичных ему людей, вроде Шувалова или Эмилии Мусиной-Пушкиной.

Эта поза Лермонтова, описанная Тургеневым, – почти разгадка тайны. Увлечения Лермонтова светом.

Он не снял, ни сабли, ни перчаток. Он случайно ненароком заглянул сюда. Он сейчас уйдет. И зря все при виде его, поминают Байрона. Он больше похож на средневекового принца датского.

Соллогуб настаивал позже в мемуарах, что Лермонтов, «хотя и происходил от хорошей русской дворянской семьи, не принадлежал, однако, по рождению к квинтэссенции петербургского общества». Как-так – не принадлежал? А слова великого князя Михаила Павловича (или приписываемые ему) по поводу стихотворения «Смерть поэта»? – «Эх, как он расходился! Можно подумать он сам не принадлежит к высшим дворянским родам!» Да и присутствие позже Лермонтова на свадьбе Маши Трубецкой с его кузеном Столыпинам, где были императорская чета и высшие чиновники государства – говорит само за себя.

Соллогуб просто ревновал к Лермонтову свою первую жену, Софи. Всегда ревновал – даже задним числом, когда сам уже оставил ее. Да и хотел, возможно, извиниться в поздних воспоминаниях, что написал когда-то повесть «Большой свет».

А заодно напомнить заносчивому Лермонтову (которого давно не было в живых), что сам он, все-таки – *граф* Соллогуб!

В высший свет петербургский (в круг «ультрафешенебельных», как они звали себя) он вошел по-настоящему только после первого возвращения с Кавказа – в 1838 году... И ввело его туда, как ни странно, стихотворение «Смерть поэта» и еще одна героическая женщина, которая сама была явлением не только этого круга, но самой человеческой породы. Она была дочерью Кутузова и носила фамилию Хитрово, по второму мужу, дипломату. Элиза Хитрово.

Она сама нашла его в те короткие дни меж тем, как его выпустили из-под ареста за стихи на смерть Пушкина и его отъездом на Кавказ... Раньше они в свете лишь раскланивались. Теперь ее тянуло самой выразить благодарность тому, кто окропил такой светлой слезой могилу человека, которого она любила. Бабушка Елизавета Алексеевна была удивлена ее визитом – они прежде не общались с гостьей.

Новая знакомая почти с порога оглушила его новостью:

– Скажу вам по секрету, – впрочем, в свете – какие секреты? – граф не хотел развозить этой истории с вашими стихами! (Он сразу понял, что граф – это Бенкендорф. Хотя графьев много, а вот поди ж! Всегда найдется кто-то, кто больше граф, чем другие!) Он так и сказал Дубельту, продолжила она: «Самое лучшее вообще забыть об этой истории, тогда она быстро схлынет!» – Что-то в этом роде. Мол «начнем запрещать – только раздуем пламя страстей!» Граф боялся одного, чтоб стихотворение не попало на глаза государю. Но одна сплетница на балу спросила его – читал ли он? Граф уже вынужден был сообщить...

И усмехнулась почти коварно:

– Представляете себе? Когда вошел с докладом, на столе у государя уже лежали ваши стихи, посланные ему по городской почте. И с каким названием? «Воззвание к революции».

Лермонтов в это время про себя сосредоточенно пытался вспомнить вопросы, которые ему задавали на следствии. Кое-что становилось ясней...

– И сказать вам, кто сплетница? Моя родная сестра, Анна Михайловна, и, между прочим, тоже Хитрово! Это все, что нас связывает – фамилия мужей! Поговорив с Бенкендорфом и поняв, что он не хочет ничего предпринимать, она послала стихи сама... По городской почте.

– Не переживайте! Свет – «скользкое место», как говорит Вяземский. Моя сестра! Тоже дочка Кутузова. Правда, она у нас в семье всегда считалась дурой!

Элиза была легендой того героического времени, после которого (так думали многие, Лермонтов в том числе) исчезли герои.

Говорили, она юной отправилась за любимым мужем, графом Тизенгаузеном, на войну с Бонапартом, в 1805-м, была с войсками под Аустерлицем, потом ухаживала за любимым, когда он умирал от ран в маленькой австрийской деревушке, – а после через несколько стран везла в Россию гроб с телом его. Так рассказывали в обществе. У истории были детали, но общество, как всегда, опускает детали.

Теперь ей было около пятидесяти, и молодой Лермонтов с насмешкой или даже неприязнью взиравший на перезрелых красавиц, по отношению к ней сразу менялся...

Лиза в городе жила
С дочкой Доленькой,
Лиза в городе слыла
Лизой голенькой...

Это расхожее светское *mot* на ее счет даже Пушкин повторял – но все почти в обществе знали, что он был ее другом и больше, чем другом – незадолго до женитьбы. И, может, единственным мужчиной, которого после погибшего первого мужа любила она сама. Преследовала своим вниманием, а он отбивался.

Ее откровенные наряды смущавшие старух ее возраста, успевших «обновить уже и шлафор и чепец», почему-то нравились молодым людям. Она все еще была хороша – и не боялась своего возраста и того, что ее декольте будут обсуждать злоречивые всякого рода. Но главное, ей это, правда, еще шло, что мало кто мог ей простить, – но не она сносила насмешки, а насмешки словно обтекали ее...

«Лиза голенькая»... Пусть! Но грудь ее все еще «значилась в списках» – и не только светских сплетен. Она принимала гостей, большей частью, молодых, утром, лежа в постели, и командовала:

- Нет, тут не садитесь, пожалуйста! Это – место Крылова!..
- Нет, не сюда! Тут обычно Жуковский!
- Нет-нет! садитесь спокойно! Жуковский, кажется, уехал с наследником!
- Не здесь, если можно! Тут обычно Сперанский!
- Простите! Сюда нельзя, здесь сиживал Пушкин!.. Лучше садитесь ко мне на кровать!..

Иные молодые поэты готовы были в прямом смысле «сесть к ней на кровать», завести роман. Может, надеясь, таким образом, чрез нее, добраться до сути: как это получалось у Пушкина: такие стихи! Как ему удавалось?

Лермонтов не обладал столь странными желаньями. Но она ему нравилась просто, а он ей.

Она была кладезем вестей, которые бродили в свете, но в ее передаче обретали значение. Уже поздней, когда он вернулся с Кавказа, она как-то оглушила его еще раз... На сей раз коснувшись самой истории пушкинской дуэли. Сперва повторила, в сущности, то, что говорил Соллогуб.

– Пушкин ошибался, когда виноватил Геккернов в авторстве пасквиля, который привел к его дуэли и смерти.

– ... Там, в этом гнусном пасквиле, намек на Нарышкину. Что это? Намек на нашего государя? Нет-нет! Дипломат, даже плохой, не позволит себе так. Говорю вам, как вдова дипломата, светлая ему память! (Перекрестилась.)

Геккернам это было ни к чему – больше, чем кому другому. Ну, правда, если б Дантес любил Натали, зачем ему было дразнить ее мужа? Потом пришлось, бедняге, жениться на ее сестре – тоже не позавидуешь. Да и карьера ломалась...

Ну и, кроме того... уж простите за откровенность... вопрос «бугрства»... Что Дантес был не только приемным сыном Геккерна, но и его любовником – теперь уж все знают. Что ж? Геккерны в письме намекали на самих себя?

Нет! Это сделали вовсе другие люди. Я убеждена!

– Может, Долгоруков? – спрашивал Лермонтов с осторожностью.

– Оставьте в покое Долгорукова, на него и так вешают всех собак. Не он, не князь Гагарин...

– А кто же?

– Долгоруков хотя бы Пушкина читал! Но это были люди *вашего* поколения. Из тех, кому вообще ничего не дорого. Молодые... Они уже Пушкина не читали, или он для них ничего не значил. Я сразу так подумала!

Он пожал плечами. – Может быть!

– Помните компанию беспутной молодежи, которая бросила со шлюпки на борт чьей-то яхты, где играли свадьбу, гроб с надписью «Граф Борх»? Так подписан был и пасквиль на Пушкина!

– Вы хотите сказать... Трубецкой? Александр? Или один из Трубецких?

– Я ничего не хочу сказать. Я лишь раздумываю!.. – Она улыбнулась. Она умела так светло улыбаться.

Когда он приехал в отпуск с Кавказа в 41-м, ее уже в живых не было.

Но когда она умирала, он еще был здесь и присутствовал при отпевании в Конюшенной. Дочь Кутузова, как-никак! Гости – почти весь высший свет. Император в поездке, но императрица с наследником присутствуют.

Шла долгая служба. Элиза лежала в гробу спокойная, прибранная, почти счастливая. Будто соединилась уже после стольких блужданий со своим графом Тизенгаузеном, и ей не нужно теперь, в кибитке, тряской и замороженной, свершать длинный путь за его гробом и своей тоской от Аустерлица до Петербурга. Михаил смотрел на нее и не смотрел. Он любовался ею. Он видел ее почему-то в блеске люстр и в слишком открытом платье.

Ему стало жарко, он вышел на ступеньки у входа... К нему подошла дама в возрасте, он встречался с ней в обществе, но не раскланивался.

– Я – сестра несчастной Элиз! – представилась дама.

– Я знаю! – поклонился Лермонтов, не скрыв усмешки.

– Я вас, кажется, подвела тогда нечаянно?.. Я очень сожалела.

– Да нет, ничего! – сказал он весьма мрачно.

– Зато у вас теперь слава, я слышала! Так что, этим вы чуть-чуть обязаны мне. Не сердитесь! Откуда я могла знать, что вы друг моей сестрицы?

– Вам и не надо было знать! – сказал он почти грубо и сделал шаг уйти.

Но она продолжила: – Она так редко знакомила меня со своими друзьями! Я даже Пушкина толком не знала!

«Скользкое место» – петербургский свет. Даже с другом не дадут проститься!

Элиза ушла из жизни в 39-м. Во всех последующих делах и неудачах его она уже помочь не могла.

II

Из Записок Столыпина

Приехав в отпуск в феврале 41-го, на Масленицу, он уже, думаю, в первой половине марта твердо знал, что его не пустят ни в рай, ни в столицу. И что мечта об отставке – лишь туман. С этим были связаны его весьма туманные настроения. Я старался не спрашивать, да и виделись мы иногда редко: Александрин, по приезде моем – не забудем, я тоже приехал только в отпуск, – показала мне со всей откровенностью, что, если наши отношения, и не сошли вовсе на нет в мое отсутствие, то поддались увяданию... Верность в разлуке вряд ли входила в число ее надежных свойств.

– Ты соскучилась по мне?

– Не знаю. Мне не давали скучать! – Но видя, что расстроила меня ответом...

– Да не бойся. Не бойся! Мне тебя не хватало, и никто не способен заменить тебя!

– Не способен, но заменял! – думал я про себя, и в очередной раз пожалел ее мужа Ивана Илларионовича. – Ему, возможно, еще хуже! Хотя...

Что касается Миши... Я не все говорил ему, что знал о его делах, опасаясь поселения в нем напрасных надежд, кои после не сбудутся, и станет еще хуже... Но дела его не выходили из круга моих забот, и я старался узнать, что мог. Через ту же Александрин, между прочим, через Воронцову-Дашкову – и она, и ее муж входили в те сферы, какие были нам с Мишей недоступны. Сама Александрин очень хорошо относилась к Лермонтову и, ценила его как поэта.

Может, больше, чем некоторые литературные друзья – или нареченные друзьями. (Но это в скобках!)

– Слава Богу, – думал я, что не он стал ее возлюбленным. – Он бы просто не вынес те ситуации, какие все же выношу я...

И, что греха таить, от этой терпеливости своей, я испытывал некоторую гордость – некое возвышение свое даже над ним, близким другом.

От Александрин я слышал подробности, которые на момент, вселили, и впрямь, надежды. Они, правда, быстро рушились, но вселялись другие...

Софи Карамзина в первую очередь обратилась к Жуковскому, хотя и сам Жуковский сочувствовал Лермонтову и старался помочь. Жуковский как будто, беседовал с наследником Александром, а тот, в свой черед, якобы, просил отца... У него были основания для просьбы – готовился праздник: его, Александра, день рождения, и ожидали прощений и милостей... Потом его помолвка с Марией Гессен-Дармштадтской. Графиня Бобринская была не только подругой императрицы Александры Федоровны, но и Александрин, и сказала ей, что пока робкая просьба сына не произвела впечатления на всемогущего отца. Говорила также, что императрица плакала после беседы с мужем о Лермонтове. Она вообще часто плакала в ту пору. Она много болела, а муж сердился на нее за какие-то ее выходы в маскарад. А роль фрейлины Нелидовой в жизни ее мужа становилась все больше, все прочней, были еще другие дамы... И ей приходилось несладко. Так еще запретить себе маскарад...

Что касается Лермонтова... Перовский три вечера подряд читал ей «Демона», а она любила его чтение, и, может, вообще, ей больше нравилось чтение Перовского, чем стихи из «Демона». Но... совершившая некогда ошибку, – не отменив танцевальное утро после вести о смертельной дуэли Пушкина, она после принялась за чтение Пушкина и теперь уже считала его своим поэтом и, вообще, великим поэтом времени правления ее мужа. Правители любят, чтоб история их царств выглядела красиво. И так как пришла пора, когда она как женщина не могла уже полностью отвечать за мужское состояние своего супруга, она хотела украсить другие области его власти и его жизни, и Пушкин, а теперь вот Лермонтов для этого, ей казалось, подходили... И она сокрушалась, почему ее Николая никак не хочет с этим согласиться, когда они с сыном так просто это понимают.

Я поговорил с Философовым, мужем нашей родственницы... Он стал уже воспитателем младших великих князей. Он сказал мне:

– Сам хотел бы объяснить себе! Кто играет главную скрипку? Бенкендорф? Но он сначала сам заступался за Михаила. И помог его воротить назад с Кавказа. Кроме того... он по природе – человек формального мышления, но не палач. Дубельт тем боле. Великий князь Михаил Павлович никогда так уж плохо не относился к Мише. Всем ясно, что история с Барантом – вполне детская история. То есть, обычная, светская. Скорей всего, касается женщины. Хоть я не уверен, что за ней не стоит оскорбленное самолюбие за стихи на смерть Пушкина. Кого-то, не скажу, кого. Необязательно французов. И необязательно – французского посла. Тем более, что Дантес – откровенный сторонник бывшей правящей династии, а не нынешней. Здесь кто-то из наших подсказал невесте что французскому шалопаю. Придумал – или настроил его. Больного самомнением от того, что его отец – посол, и поэтому каждая русская дама, которая ему понравится, должна быть его, а как же иначе?

А все остальное – спрятано здесь, у нас, и Баранты – один или другой – тут ни при чем. Человек, допустим, справедливо наказанный за дуэль – привозит с Кавказа два или три представления к наградам. Можно использовать хотя бы одно. Что мешает? Когда столько людей за него просит. И он один внук у несчастной старухи бабушки – больше у нее никого. Значит, мешает все-таки! Недовольны не самой дуэлью, а Мишей. Как писателем. Стихи – не пристрастие государя, если они не политические. Хотя... Я не уверен, что государь был бы в восторге прочитав обращение к Богу:

За жар души, растроченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Но сделай так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил...

Это что у нас – пустыня? Вообще, такая плохая страна, что остается только мечтать о смерти?

– Я попытался возразить, сказав, что стихи Пушкина, которого теперь усердно поднимают на щит, слава богу, вовсе не так оптимистичны.

Он – в ответ:

– Да, пожалуй... Но это – лишь предположение. Хотите правду? Государю не понравился Мишин роман. Императрице нравится, а ему нет! Про роман я слышал сам. Государю не хочется думать, что в его кавказском корпусе воюют одни какие-то недостойные люди. Или грушницкие, или драгунский капитан... Или печорины – это уж совсем никуда не годится. Крадут горских девушек, помогают украсть коня... обманывают девиц на водах. И все для успокоения собственного эгоизма.

От разочарования в жизни. А чем они так разочарованы? Начитались «клеветников России»?

Которых обличал Пушкин? И еще название: «Герой нашего времени»! А Время у нас осенено чьим именем? С Временем надо быть осторожным!

Мы с генералом Философовым были родственники – могли доверять друг другу.

– А Бенкендорф, – добавил он, помолчав, даже Клейнмихель... Бенкендорф – вообще, – друг детства государя, и тот считает до сих пор его своим ближайшим другом. Наверное, это так и есть. И граф не сделает ничего ради Миши или кого-нибудь другого из опасения, чтоб эта уверенность не поколебалась!

Вскоре, на одном из раутов я встретился с князем Вяземским. Он был всегда расположен ко мне.

Я спросил его, что думает он о возможности похлопотать за Лермонтова, чтоб он остался здесь после отпуска? Не ехал на Кавказ... И кого можно попросить об этом? – Видите ли, – начал Вяземский, весьма осторожно и потому издалека. – Дуэль с Барантом была глупость. Раздули ее только наши «патриоты». – Он произнес слово как бы в кавычках. – Ей радоваться могла только безмозглая молодежь вроде моего сына Павла, который, кстати, очень увлекается вашим другом. На самом деле, за глупости надо платить – тут уж ничего не попишешь. Ну да, он вызвал на дуэль француза, как Пушкин. Но у Пушкина были особые обстоятельства. И наше уважение к его памяти, в частности, в том, чтоб не копировать его поступки. Не так?

Я возразил, что Лермонтов пошел на дуэль в условиях, в каких любой уважающий себя русский офицер сделал бы то же самое. Кроме того, вызвал не он, а его.

– Может быть, – согласился Вяземский с неохотой, – может быть. Но, кроме наших светских споров и даже за наших милых дам, – есть еще логика... дипломатия, межгосударственные отношения... Слышал у Нессельроде, что дуэль вызвала напряжение в этом смысле. Чего нельзя допускать. Доставила хлопот нашему международному ведомству.

«Слышал у Нессельроде»? – я знал, что Вяземский прежде там не бывал и гордился этим. А графиню Нессельроде звал не иначе, как графиней Пупковой. Он считал этот круг врагами Пушкина и впрямую ответственными за его гибель. – А теперь... что ж, время меняется.

Я вспомнил Философова и его слова о времени...

– Вы извините меня – я все же литератор с огромным стажем. Я – оттуда! – он жестом показал, как это далеко, – из эпохи Державина, Батюшкова Жуковского... Ну и Пушкина, конечно, я жил при Пушкине и даже считался в его время заметным поэтом.

И я не совсем понимаю Михаила Юрьевича, а в чем-то не одобряю... Хотя... это, наверное, в данном случае звучит несколько неаккуратно. Когда к человеку привязывается власть – виновен он или нет, – наша русская беда или наше счастье, что мы на его стороне! Ну да, он написал хорошие стихи на смерть Пушкина. Это было требование момента. Прекрасные стихи. Это у нас всех, извините, перло из горла, нельзя было не написать. Можно было даже лучше написать.

Он и дальше показал свои способности. «Песня про купца Калашникова», «Бородино». Особенно в последнем есть искусные строки. Но тут он взялся за «Демона». Когда есть еще «Фауст» Гёте и много другого... Он создает «Журналиста, читателя и писателя», где только слепой не видит прямые выпады в адрес Пушкина и «Разговора книгопродавца с поэтом». Хотя бы в ранге только спора. Да и в мой адрес – я бы мог вам процитировать строки. – Что он вздумал нас учить? Я, конечно, нет, но мой друг Плетнёв, тоже известный поэт той давней для вас, *пушкинской* эпохи (подчеркнул) – говорит про него, что он строит из себя Пушкина.

...Потом он пишет роман... там есть, стилистически, несколько удачных мест, не спорю, но в целом, но идея!.. Кого он выбирает в «герои времени»?.. Это снова Онегин, только много хуже. Как человек, разумеется. Но Пушкин в финале дает Онегину, при всех его недостатках – счастье любить. Озарение любви. А тут герой остается в безочаровании своего взгляда на все истинно прекрасное. А мы говорим – нет! дайте нам оружие в руки для исправления самих себя. Дайте нам надежду, в конце концов и свет в конце тоннеля!

Он бы, наверное, говорил еще и еще... но увидел знакомую даму, и был рад откланяться.

III

Роман с графиней Додо притормозился как-то и было непонятно, кто тому виной. Возможно, были оба. Когда он в следующий раз попробовал обнять и поцеловать ее, она мило выскользнула из рук и столь же мило попросила:

– Давайте не так сразу? Подождем чуть-чуть!

Он не стал настаивать. Он понял, что и она опасается чего-то, как опасался он сам. Уж слишком их дружба возникла неожиданно. А вмешивать сюда любовь – это опасно. Графиня попыталась объяснить: – Я всегда боюсь немного, когда вдруг начинаю вести за собой кого-то из чувства. Может, я плохо представляю себе, куда его веду?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.